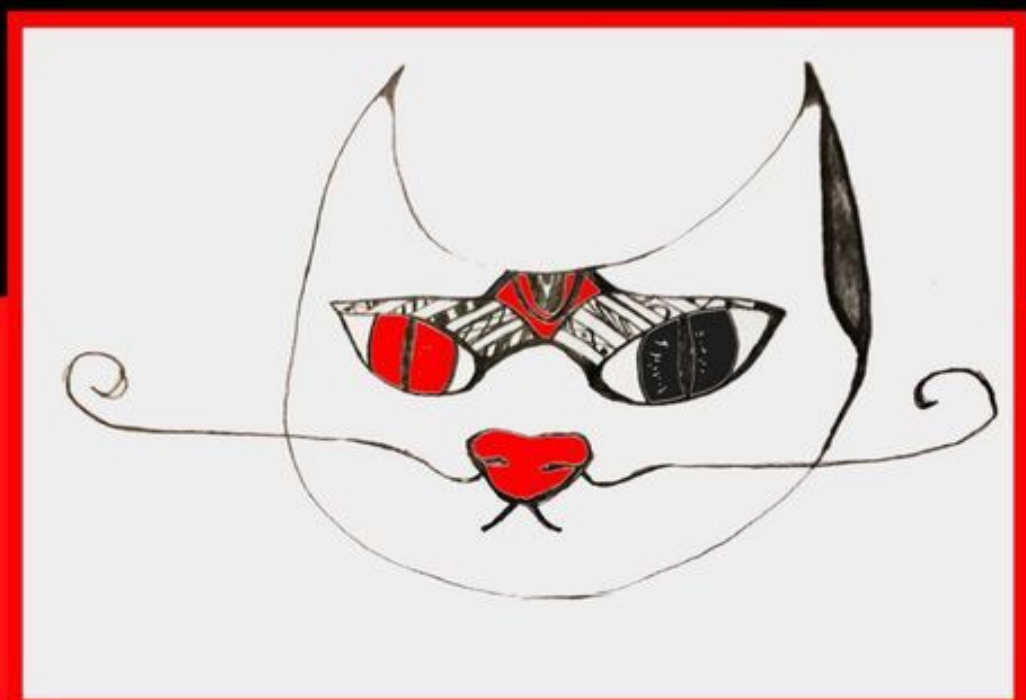


18+

Джио Россо



Добрые злые сказки

Добрые злые сказки
Джио Россо

© Джио Россо, 2023

ISBN 978-5-0060-1901-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моя Мари

Прошлое – это прекрасно, моя Мари,
только с собой его, милая, не бери.
Лучше оставь его в бабушкином сундуке,
или у мамы в шкатулке, но в рюкзаке,
что ты несешь за плечами, его не храни,
слишком тяжелый камень, моя Мари.

Прошлое – это как детство, скажи прощай,
изредка воскресеньями навещай.
Но никогда в глаза ему не гляди,
прошлое – это зараза, моя Мари.
Белый осколок чашки, причуда, пыль,
и на земле лежащий сухой ковыль.

Это товар без возврата, пробитый чек,
смуглый мальчишка с родинкой на плече,
что целовал под саваном темноты,
первый бокал мартини, табачный дым.
Всё, что когда-то выгорело костром:
истина, безмятежность, невинность, дом.

Ты не святая, зачем тебе этот крест? —
сотни отпущенных рук, опустевших мест.
Всё, что не прижилось и не проросло,
даже вот это ангельское крыло.
Выбрось его с рождественской мишурой,
смело шагай под звёздами, громко пой.

Прошлое – это так больно, моя Мари,
всё, что нельзя исправить и изменить.
Каждое грубое слово, кривой совет,
тот утонувший в море цветной браслет.

Слёзы на выпускном и последний вальс.
Что-то хорошее тоже, но в том и фарс:

это есть якорь, что тянет тебя ко дну,
в прошлый четверг, в растаявшую весну.
Если не сможешь и не шагнешь вперед,
то, что давно истлело, тебя сожрёт.

Брось его в пламя, гляди, как оно горит,
полку освободи для другой любви.
Прошное – это прекрасно, моя Мари,
только с собой ни за что его не бери.

Письмо

Привет, молодые и глупые, смешные, босые и пьяные. Идущие стаями, группами, и те одиночки упрямые, что мечутся между высотками, скрывают глаза капюшонами, пытаются быть беззаботными, но курят ночами бессонными. Привет, дети солнца и воздуха, потомки известных мечтателей, рожденные вспышками космоса в утробе галактики-матери. Беспечные, хрупкие, колкие, с щеками, от холода красными, с забитыми книжными полками, с глазами тревожно-опасными.

Привет, я пишу из столетия, где дальние тропы исхожены, где были открыты созвездия, на ваши совсем не похожие. Где Марс обустроен жилищами и можно экспрессом до Ригеля. Где нет ни святого, ни нищего, где деньги не цель и не двигатель. Здесь нет ни войны, ни оружия, здесь бомбы в музеях истории, секреты не нужно выуживать со вражеской территории. Здесь, в мире, обретшем гармонию, мы смотрим на вас, наше прошлое, на Землю, что бьется в агонии, чье сердце больно и изношено. На атом, на нефть, на правителей, на всех подневольных и страждущих, на вечно обманутых зрителей, на новости, лгущие каждому. На тех, кто оторван от берега, на брошенных и на предателей. На женщин, что бьются в истерике, на слезы, что пролили матери. На мальчиков, пулями скошенных, на плоть, испещрённую ранами. Мы смотрим на вас, наше прошлое, больное, безумное, странное.

Привет. Не печальтесь о сказанном, не стоит твердить о напраслине. Проснитесь однажды, и разом вы сделайте что-то прекрасное. Идите с улыбкой без горечи, сердечному голосу следуя, бегите, хватаясь за поручни, по лестницам, страха не ведая. Дышите дорогой и странствием, желанием нового, светлого, ночами, закатами красными, весной, что пропахла запретами. И верьте в себя до последнего, толпу оставляя за спинами, не делайте жизнь трагедией, пустячную грусть культивируя. Провалы, проколы, падения, примите с буддистским спокойствием. И прочь отменяйте сомнения, берите тяжелое, большее. И вы, молодые и глупые – создатели, мира строители, кричите о радости в рупоры, носите победы на кителях. Влюбляйтесь, целуйтесь, безумствуйте, ведь в ваших руках настоящее. Не пользуйтесь ложной презумпцией слепой невинности спящего, что сном объясняет бездействие, держитесь другой траектории: стихами, аккордами, песнями пишите, творите историю.

Запомни меня

Запомни меня таким, как сейчас — беспечным и молодым, в рубашке, повисшей на острых плечах, пускающим в небо дым. Неспящим, растрепанным, верящим в Джа, гуляющим босиком, не в такт напевающим регги и джаз, курящим гашиш тайком. В разорванных джинсах, с разбитой губой, с ромашками в волосах, глотающим жадно плохой алкоголь, пускающим пыль в глаза. Нагим заходящим в ночной океан, пугающим криком птиц, с десятками шрамов, царапин и ран, с укусами у ключиц. Бесстрашным, отчаянным, смелым и злым, не знающим слова «нет», на унцию грешным, на четверть святым, держащим в ладонях свет.

Запомни мой образ, когда в полутьме целую твое лицо, запомни мой голос и след на стекле от выдоха хрупких слов. Запомни меня сидящим в метро и мокнущим под дождем, стихи напевающим богу ветров, и спящим, и пьющим ром. Смотрящим на то, как в костра дым и чад врезаются мотыльки. Горячим, горящим, влюблённым в тебя — запомни меня таким.

И если когда-то, спустя десять зим, ты встретишь меня в толпе, найдешь меня серым, безликим, пустым, ушедшим в чужую тень, схвати меня крепко, сожми воротник, встряхни меня за плечо, скажи, что я трус, неудачник и псих, брани меня горячо. Заставь меня вспомнить ночной океан, рассветы, ромашки, джаз.

Прижми свои губы к холодным губам,
заставь меня
вспомнить
нас.

«Солнце в зените...»

Солнце в зените,
я на орбите
ловлю фм-волну.

Петлями мой
оранжевый свитер
цепляется за Луну.

Кольца Сатурна
кружатся в танце,
вьются хвосты комет.

До мировых
космических станций
тысячи световых лет.

Скинут скафандр,
ставший ненужным.
Стало дышать легко.

И по глубоким
космическим лужам
можно гулять босиком.

Звездная пыль
в волосах и на коже.

Я
излучаю

свет.

Мимо идущий
Лунный Прохожий,
мне подает билет.

За поворотом
виднеется Ригель —
ярко горящий глаз.

Цирк-шапито
на метеорите,
клоун приветствует нас.

Жонглеры с Марса,
гимнастки с Венеры,
птицы с далекой Земли.

Мимо летят,
повинуясь ветру,
звездные корабли.

Вот майор Том,
в баре за стойкой
в джин добавляет лёд.

Тоже потерянный,
но еще стойкий,
хочет собрать звездолет.

Я улыбаюсь,
шагаю беспечно,
слушаю лунный блюз.

Я выбираю
космос и вечность.
И
навсегда
остаюсь.

Рядом шагает
беспечное детство,
сказкой с цветных страниц.

Космос теперь —
мое королевство.

Я — его
Маленький
Принц.

Игра

Мы играли весело целый год: я стоял на месте, ты шла вперёд. Ты держалась курса, я метил в цель. В промежутках были: коньяк, постель, сигареты, кофе, цветной экран, поезда, подземки, огни реклам. Кавардак, сумятица, ерунда; ничего о нежности, ни-ко-гда.

Это было правилом для двоих: ничего не значащий перепих. Не касаться сердца, не лезть в нутро, счёт вести по станциям на метро. Знать привычки тела, но не души, нет обета верности – нет и лжи. Не учить, не строить, не приручать. Проходить маршрутом: такси-кровать. Не стрелять в затылок, не бить под дых – это было правилом для двоих.

Это было правильным – мир жесток. Если только выставишь голый бок, если только скинешь с себя броню, то сейчас же выкосят на корню. Если дашь предательски слабину, то разбитым бригом пойдёшь ко дну. А решишь открыться, ну что ж, держи: получай картечью по струнам жил. Будь сожжённым заживо, но терпи, только опыт в памяти закрепи. А любовь – лишь фикция, просто страсть, половые фрикции, пот и грязь. Коматоз рассудка, прыжок во тьму. Ни к чему нам всё это. Ни к чему.

Мы играли весело целый год: покрывался звёздами небосвод, снег летел на шапки, свистел Борей, теплотрассы нежили голубей. Ты смеялась весело и легко, и ловила искорки языком. И зачем-то в рёбрах сердечный ком трепыхался каменным мотыльком. И зачем-то я растерял запас всех банальных слов, всех избитых фраз. Растворились уличный шум и гам, и народ, что двигался по домам. Я стоял, заполнившись вдруг свинцом, и держал в ладонях твоё лицо, повторяя пальцами контур скул.

Я пропал, любимая, я продул.

«Двадцать третьего числа...»

Двадцать третьего числа
такого-то года и такого-то месяца,
я арендую старый Кадиллак
цвета сигаретного дыма,
и поеду в Голливуд,
терпким черешневым вечером,
шурша по асфальтовой коже
новой грубой резиной.

Я проложу маршрут мимо песков и кактусов,
мимо жестяных указателей,
скрипящих на ветру,
мимо придорожных кафе,
принимающих людей без статуса,
где запах марихуаны
из ноздрей проникает в грудь.

Я выпью невкусный кофе
из грязной чашки,
в одном из таких заведений,
пролив пару капель на ткань
не идущей к лицу крахмальной рубашки,
столкнусь в туалете с парой седых привидений.

Может быть, даже ввяжусь в небольшую драку,
посажу синяк на скулу, разорву манжеты,
и, закулив сигарету,
снова сяду за руль.

Старый пикап, со следами от пуль,
промчится мимо, обдав меня облаком пыли.
Расправляя помятые крылья,

над головой пролетит крикливая птица
с острыми когтями.

Почему у призраков не отражаются лица
в зеркалах?

Почему не болит и не тянет,
даже если я так далеко?

Даже если я всё ещё помню
дорогу назад?

И стальные прутья балкона,
и облупившийся желтый фасад?

Я засну, остановившись у обочины
и накрывшись кожаной курткой.
Разбуженный болью в позвоночнике
и зябкостью раннего утра,
утолю жажду теплым, противным пивом,
и вернусь на дорогу.

Ведь где-то за поворотом этого мира,
вне радиуса зрения Бога,
меня ждет Голливуд,
красивый и блестящий,
как конфета в цветной обертке.

И если я не обрету там счастья,
то застрелюсь из отцовского кольта.

Но стойте —
у меня еще есть пара-тройка шансов,

пара сменных рубашек,
пара смелых улыбок
и пачка сигарет.

Солнце палит, ветер беспечен и ласков,
и с холмов Голливуда
мисс Мэрилин
шлёт мне привет.

Пока ты спишь

Пока ты спишь, спокойно спишь в воздушном замке под луной, по гребням разноцветных крыш крадется кошка за звездой. Взмахнув неоновым хвостом и растревожив гладь небес, пытаюсь цапнуть Орион и метя прямо в Южный крест, гигантский совершив прыжок сквозь миллиарды световых, вдруг приземляется у ног не знавших отдыха моих. Я пью шербет из сладких роз на пышных марсовых лугах, где пухлощекий паровоз скользит по рельсам в облаках. Здесь сильфы ласково поют, играя с прядями волос, и бородатый добрый дух кружит со стаями стрекоз. Здесь музыка небесных сфер и невесома и нежна, и по горячей коже тел порхает пальцами весна. Здесь серебристая пыльца снежинками летит с небес, но обод парного кольца меня опять ведет к тебе. Ведет к тебе в сырую тьму, где осень царствует и бьет. Где красногрудую листву неумолимый дворник жжет. Где есть заботы и дела, и неудачи, и враги.

Но ты, я знаю, ты – смела.

И я люблю тебя любить.

И я несу тебе со звезд цветные, сказочные сны. Где медь, слюда и купорос, где пять мгновений до весны. Где замки тонут в облаках, где рыбы с синей чешуей, где есть оазисы в песках и слышен оборотней вой. Пока ты спишь, спокойно спишь, под щеку подложив ладонь, по гребням остроухих крыш скользит румянящий огонь. И солнце льнет в твою кровать, впуская раннюю зарю.

Влюбись в себя, люби себя.

Люби, как я тебя люблю.

«Зови меня Капитан-Беда...»

Зови меня Капитан-Беда,
король больших Невезучих вод.
Быть неудачником тоже дар,
и в этом деле я взял джекпот.
Я не уверен в грядущем дне:
смогу ли завтра открыть глаза,
умыться, наскоро съесть омлет,
потом отправиться на вокзал.
Оттуда в офис: тик-так, тик-так,
(лишь час обеда не прозевай).
По волнам циферок и бумаг
меня уносит в дремотный край.
Мне душно, муторно, как и всем,
и, как и всех, меня тянет спать.
Я слился кожей с бетоном стен
и мимикрировал под асфальт.

Ну что ж, ведь я – Капитан-Дурак,
король семи Шутовских морей.
Я превращаю любой пустяк
в такую драму – хоть плач, хоть пей.
С востока движется ураган,
мой бриг качается и скрипит.
Чумазый парус в заплатках ран,
и компас старенький барахлит.
И в сотый раз я молюсь богам —
пусть мачты выдержат натиск волн.
Пусть мой корабль – труха и хлам,
но есть же всё-таки волшебство?

Но есть же всё-таки шанс пройти,
пусть поломав и бушприт, и фок?
Так, если веришь – меня води
по перекрёсткам морских дорог.

Так, если веришь, кричи в ответ,
когда услышишь, что я зову.
Твой голос тянет меня на свет,
и я плыву за ним,
я плыву.

Скиталец-Макс

Под небом в крапинках звёздных клякс, подставив ночи худую грудь, шагает бодро скиталец-Макс, не суть – куда, но куда-нибудь. Карманы, полные медяков, рюкзак и ворох дорожных карт. Сбивая с города пыль веков, смеётся ветреный юный март. И Шельда – чистое серебро, несёт кораблики на восток, где месяц, жёлтую выгнув бровь, висит недвижимо над мостом. Антверпен весел, но очень стар, здесь в переулках гуляет миф. Снижая шансы дожить до ста, Макс замедляется, закулив. Его бессонная голова вмещает тысячи городов. Искать, исследовать, узнавать, меняя дюны на глыбы льдов...

Он понял истину год назад, когда усталость сломила дух: не стоит гнать себя в самый Ад, тащась за кем-то на поводу. Макс с детства шел за чужой мечтой, под зорким взглядом отцовских глаз. Пытаясь свой изменить покрой, стараясь свой изменить окрас, в конечном счёте он стал никем, безликой тенью в густой толпе. Он лгал себе, отрицая плен, учился мучиться и терпеть. Вести себя, как тебе велят, скрывать смешки, выбирать слова, глотать безропотно горький яд упрёков, брошенных за провал. Он должен был одолеть предел, стать Крёзом, новым царём горы.

...но Макс ведь этого не хотел, и выбыл в самый разгар игры. Он безрассудно рванул стоп-кран, и спрыгнул с поезда в пыль и дождь. Что мир – не лужа, а океан, узнал – и тело пробила дрожь.

Как замечательно быть собой, спать без кошмаров, смеяться всласть! С горящим сердцем идти на бой, а оступившись – ну что ж, упасть. Носить медалями синяки, да, ошибаться, но самому. И не бояться подать руки, любить, и смело шагать во тьму. И соль, и слёзы, и пот, и шрам – всё это опыт, не стоит нить. Но Макс не трус, он не любит драм, он знает – боль помогает жить. Он исцелился лишь год назад, послав всех гуру и мудрецов, и понял истину: ты богат, когда свободен. В конце концов, есть небо в крапинках звёздных клякс, и тёплый ветер, и долгий путь. Идёт по миру скиталец-Макс.

И он единственный знает суть.

«Спокойной ночи, Мария...»

Спокойной ночи, Мария.
Я твой подкроватный монстр.
Силой своей любви я
делаю теплым воздух
в доме твоём,
где нет камина и печки,
и даже горящей свечки,
мерцающей на столе.

Пожалуйста, не болей.
Пей нагретое молоко,
закатанных рукавов
остерегайся.
Тщательней одевайся
в вязаные свитера.
Не сиди до утра
с заумными книжками.
Не улыбайся мальчишкам
из соседнего двора.

По вечерам
я вижу твои ступни
маленькие и босые,
через узкий просвет
между кроватью и полом.

Я видел тебя голой,
расстроенной, плачущей, злой.
Я видел тебя собой.
Я видел тебя любой.
Такой, как никто другой
никогда не увидит.
Я твой самый верный зритель.

И пусть у меня нет роз
и даже искусственных лилий.
И пусть твои подмости —
всего лишь дощатый пол,
прими мою любовь,
безмолвную, как огонек,
блуждающий в темноте.

На остром твоём плече
есть родинка в форме зайца.

Пожалуйста, не влюбляйся
в плохих людей.

И, заправляя постель,
не заглядывай под кровать.

Я хотел бы тебя целовать
и баюкать наших детей.
Но покуда я всего лишь тень —
я стану тенью твоей,
твоей бессменной охраной.

Не просыпайся рано.
Не улыбайся печально,
не позволяй отчаянию
взять верх.

И когда ты сидишь на полу,
прислонившись спиной к кровати,
и наблюдаешь игру
каких-то дурацких актеров,
от сухости сводит горло,

я чувствую запах кожи,
твоей.

И так мучительно-сложно
сдерживать себя.

И в тысячный раз повторяя:
«спокойной ночи, Мария»,
отчаянно жажду быть тем,
кто будет держать твою руку,
и каждый день говорить тебе:
«счастливого
тебе
утра».

«Знаешь, Мэри...»

Знаешь, Мэри,
в моей голове
звери.
Они бы тебя
съели,
если бы я разрешил.

Но я их гоню из прерий,
на ключ закрываю двери.
Сидят на цепях звери,
на ржавых цепях души.

А звери мои
ночью,
рвут кожу и плоть
в клочья.
И каждый их клык заточен.
Играют на струнах жил.

Но
все-таки,
между прочим,
/пусть я и
обес
точен/
ты вся,
до ресниц и точек —
причина того, что я жив.

Беги от меня, Мэри,
/прижмись же ко мне теснее/.
Спасайся скорей, Мэри,

/ничто тебя не спасет/.

Коснувшись тебя, Мэри,
попробовав раз,
звери,
живущие в моем теле,
хотят еще и еще.

Ты знаешь, Мэри,
есть истина в вине и теле,
религии и постели.
Но я отыскал в тебе.

И пусть сегодня
другой одеяло грею,
но спят мои злые звери,
тебя видя в каждом сне.

Поверь, я больше не буду зрителем,
скрываясь в своей обители,
до самых последних дней.

Я прилечу с Юпитера,
в квартиру твою в Питере.

Мэри,
стань укротительницей
моих
диких зверей.

Ты пальцем стираешь с окна тонкий лёд...

Ты пальцем стираешь с окна тонкий лёд, мечтая о скором приходе весны. Под камень лежащий вода не течёт, но спину не выпрямить – стены тесны. Захочешь подняться и лоб расшибёшь, да теменем ты подопрёшь потолок. Здесь снег круглый год, но куда тут уйдёшь, когда все дороги вокруг замело? Остыли сердца, батареи и чай, от холода трудно и хрипло дышать. И пальцы немеют, и зубы стучат, маячит пятном в полумраке кровать. «Тик-так» – произносят часы на стене, пугая тебя до подкошенных ног. Когда же закончится эта метель, и в сонной квартире раздастся звонок? Здесь, в белом плену, заблудившись в себе, оставшись без карт, старый компас разбив, ты, будто в бреду, в пустоте, в тишине, известный лишь нам напеваешь мотив...

Приём. Я пишу тебе, но адресат, сказали на почте, затерян в снегах. В твой город не ходят давно поезда и боинги тонут в густых облаках. Оборвана связь и потерян сигнал, мосты перекрыты, шоссе занесло. Там иней на ветках и скользкий металл, там ветер шипит беспокойно и зло. Но знаешь, мой друг, всем табу вопреки, я вижу тебя через ширму снегов. Я вижу окно, кисть замёрзшей руки, движение губ в повторении слов. Твой взгляд измождённый, твой облик больной, на плечи накинутый ношенный твид.

...но как мне спасти тебя, если стеной Великой Китайской твой холод стоит?

Ты помнишь, ты знаешь, как пахнет весна? – Цветущими вишнями, свежей листвой, капелью стучит и лишает нас сна, щекочет волнением в клетке грудной. Той девушкой, что украдёт поцелуй, насмешливо-рыжей, ворвётся в дома. Ты жаждешь тепла? – Так бери, не пасуй! Хватай с неба солнце и прямо в карман клади его смело, беги во весь дух, запутавшись в кедах и длинных шнурках. Я здесь, за снегами, я рядом, мой друг. Окликни меня, удержи за рукав. Мы так далеки, что застрянут слова, но нужно немного: «привет» и «спаси». Ты в цепи из льдинок себя заковал, захлопнул все двери, весну не впустил. Но бьётся под снегом бесстрашный родник, зажжённая спичка сильнее, чем тьма. Уйдут, разлетятся снежинками дни; не вечна печаль и не вечна зима.

Смотри, какая здесь темнота...

Смотри, какая здесь темнота – луна под бархатным колпаком. Скривив невесело угол рта, умело травишься табаком. Вокруг отличнейший антураж: промозглый ветер, противный дождь. И кожа щёк до того бела, что мнится, тронешь – как лист прорвёшь. Давай, соври, что ты камень, сталь, что ты не сломлен, не слаб сейчас. И что не липнет к тебе печаль, как к материнской груди дитя. За ворот свитера льёт вода, стекает прямо на теплый бок, а в пальцах, что холоднее льда, трясётся спичечный коробок. И где-то там, в глубине зрачков, где волны плещутся о гранит, сигналом бедствия, громким SOS, твой внутривенный огонь горит.

Так замечательно быть для всех, одним за всех, за тебя – никто. Ты отгоняешь, как муху, смех, предпочитая лежать пластом. И рухнет небо, и рухнет мост, в конечном счёте, так рухнешь ты. Шагай по городу, мистер Фрост, тащи на тросе припай и льды. Пусть «как бы» хочется теплоты, и «как бы» хочется стать водой, но за кулисами мрак и стынь, и ты подмостков гнилых король.

Смотри, какая здесь темнота – куда черней твоего пальто. Огромный город шуметь устал, гоняет тени в пустом метро. А ты, дружище, ещё дитя, не ровня тяжести вековой. Запомни: всё на земле – пустяк, пока ты жив и стоишь прямой. Беги легко мимо грубых фраз, насмешек колких, чужой молвы, и мимо тех любопытных глаз, что кожу скальпелем с головы. Достань огонь из глубин зрачков, вспоров алеющий капилляр, и растопи ледяной покров, свой айсберг-груз подари морям. Стань крепче, звонче, ещё сильнее, не верь бессмысленной болтовне, и вопреки беспроглядной тьме, иди по солнечной стороне.

Беги

Беги. Нас двоих не удержит земля – такие уж мы титаны. Последнего выдоха не даря и взгляд отведя упрямо, накинув пальто на сутулость плеч, согбенных чужой любовью, и рыжих волос озорную медь резинкой связав тугою, шагни за порог, водрузив ключи на скрюченный гвоздь в прихожей. Беги так легко, обгоняй ручьи, и сумкой сбивай прохожих.

Беги, там подхватит тебя метро, а после – трамвай усталый. И грея ладони горячим ртом внутри дребезжащей тары, забудь обо мне, раствори меня, как сахарный кубик в кофе. Последними всполохами огня закат пробежит по кофе, и рухнет у ног, опалив искрой лодыжку в чулке прозрачном. А после, смешавшись с густой толпой, найди в сигаретной пачке тайм-аут на пару скупых минут в борьбе с мировым гипнозом. Войди в сонный дом, где тебя не ждут, и где на обоях розы истерлись, поблекли, где мрак и пыль, где место под самой крышей. Но это – твой берег, твой порт. Там шпиль, там слышно как стены дышат. И в нём, за шестнадцать кварталов до, вдохни глубоко и жадно, где нет ни меня, ни моих следов, и привкусом шоколадным ликёр пусть согреет твою гортань, тугие узлы развяжет.

Стори. Возродись. Из костра восстань, и кожу отмой от сажи.

Скорей. Нас двоих не удержит земля – такие уж мы титаны. Пусть щеки и губы мои горят, пусть вскроются снова раны, но я побегу по ступеням вниз, сдвигая ладонью стены. Считаю мерцающие огни, пульсацию слыша вены, я брошусь на улицу, врежусь в дождь, ускорившись до предела. Меня прожует и проглотит ночь, зубами раздавит тело, и тенью безмолвной швырнет в толпу снующих полночных птишек. И я ещё яростней побегу, туда, где рассвет не страшен. Здесь цель – равновесие всех планет. Нам рядом нельзя – разрушим. И если захочешь найти мой след, и город вдруг станет душен, запри себя в комнате на замок, прижмись к батарее тёплой. Я там, где граничат песок и мох, где лица туманом стёрты. Я буду спасаться, спасая нас. Я буду гореть, сгорая. Оставив сомнения про запас, держаться на шаг от края. Но двигаясь точкой, теряя нить, меняя Арктур на Вега, я буду упрямо тебя любить весь срок своего побега.

«Можно тебя на пару ночей?..»

Можно тебя на пару ночей?

Можно на пару снов?

Тёплыми пальцами на плече, солнцем, что жжёт висок.

Тенью, проникшей в дверной проём, правом на поцелуй,
спешно украденный под дождём из острых взглядов-пуль.

Можно тебя на короткий вдох,

выдох, мурашек бег?

Время плести из мгновений-крох, стряхивать с шапки снег.

Общими сделать табак и чай, поздний сеанс в кино.

Петь под гитару, легко звучать музыкой общих нот.

Можно тебя в неурочный час,

в самый отстойный день?

Куртку неловко стащив с плеча, молча отдать тебе.

трогать ботинком осколки льдин, времени сбросив счёт.

По переулкам пустым бродить до покрасневших щёк.

Можно тебя на недолгий срок

в комнате для двоих?

Следом руки украшать бедро, выстроив ровный ритм.

Звёзды ловить, захватив балкон, кутаясь в темноту,

и перекатывать языком вкус твоих губ во рту.

Можно тебя, крепко сжав ладонь,

вывести за порог?

Выменять скучно-спокойный дом на пыль больших дорог.

Взять напрокат развалюху-додж и превратить в постель.

Громко смеясь, выносить под дождь жар обнажённых тел.

Можно тебя приучить к себе

и приручить тебя?

Мнению, обществу и судьбе бросить в лицо снаряд.
Делать лишь то, от чего в груди будет пылать пожар,
юными, смелыми обойти весь необъятный шар.

Можно тебя без тревог и мук,
без бесполезных фраз?
Знаешь, я всё говорил к тому:
можно тебя сейчас?

«Бьётся ли сердце моё?..»

Бьётся ли сердце моё?
Сердце моё бьётся ли?
Здесь за окном поёт
синей волной залив.
В комнате здесь кровать,
в комнате — дымный смог,
книг запылённых рать,
писанный маслом Бог.
Есть у меня огонь,
взятый у камелька,
есть у меня ладонь,
спрятанная в рукав.
Пляшет на стенах свет
тонким прямым лучом.
Столик да табурет —
нужно ли мне ещё?

Нужен ли мне восход
в дальних краях земли?
Гладь обнажённых вод
вспенили корабли.
В трюмах везут табак,
бочками спирт и ром.
Вслед им глядит рыбак,
взглядом, покрытым льдом.
Вслед им моя душа
смотрит с глухой тоской.
Правда ли этот шар
вертится сам собой?
Правда ли есть страна
где лишь один песок?
Сходит ли с гор весна,
там, где лежат у ног
белым ковром снега,
вечные, словно миф?

Можно ли отыскать
старый Барьерный риф?
Можно ли мне уйти,
не затворив дверей?
Ветер сырой впустив
в комнаты и постель.
Не написав картин,
не сочинив роман.
Можно ли мне уйти,
но не сойти с ума?
Но не сойти с тропы
выбранной наперёд,
чтобы ботинки в пыль,
чтобы пиджак вразмёт.
Чтобы забылось всё,
что оставляю здесь:
песни глубоких вод,
запах знакомых мест.
Вверить свою судьбу
мудрости древних звёзд.
Соль собирая с губ —
влагу счастливых слёз,
следовать по пятам
гибнущих Атлантид.
Может быть где-то там
сердце моё стучит?

«Сегодня в полночь на перекрестке...»

Сегодня в полночь на перекрестке,
где Вега встретился Альтаир,
я буду ждать тебя. Целый космос
дрожит и тонет в моей любви.
Дай угадаю – ты будешь в белом,
в руках – букет полевых цветов.
Ты будешь нежной, смешной и смелой,
и пахнуть вишнями и весной.
Мы зашагаем с тобой по звездам,
сминая пятками млечный путь.
И горько-сладкий подлунный воздух
нас поцелует в гортань и грудь.
И будут мимо лететь кометы,
хвостами вмиг разрезая тьму.
А под ногами – Земля и лето,
и за руку я тебя возьму.

Мы забежим погостить к Авроре,
прядущей звездное полотно,
монетки бросим в большое море,
зайдем в космическое метро.
Нас понесет желтоглазый поезд,
минуя Дубхе и Алиот.
И ты несмело глаза прикроешь,
подставив теплый и мягкий рот.
И будут пальцы гулять по коже,
и сладкой вишни медовый вкус.

Но кто ты?
Мы не знакомы, все же.

4:30,
и я

проснись.

*

Я помню частности: кожа, губы,
ключицы, скулы, неловкость рта.
И как магнитом к себе тянула
твоя небесная красота.
Твои ладони со вкусом стали,
галактики посреди ресниц.
Как трещины на стекле сдвигались,
ломаясь и превращаясь в птиц.
Мираж, придуманный пьяным мозгом,
а может, демон, крадущий сны?
Твой город, голос, страна и возраст,
ответь мне – кто ты?
Да кто же ты?

Ты исчезаешь с рассветной дымкой,
под трель будильника в тишине.
И только ласковая улыбка,
лишь это – то, что осталось мне.
Так больно, страшно и безнадежно —
секундой раньше держать в руках,
секундой раньше – касаться кожи.
Но утро все превращает в прах.

И снова в полночь, на перекрестке,
у автострады других миров,
я жду тебя.
Я одет неброско,
в руках букет полевых цветов.

Ты незнакомка,
ты – страсть и нежность,
ты – тяжесть в сердце и боль в груди.

Я просыпаюсь с пустой надеждой
в реальном мире
тебя найти.

«Море...»

Море,
пребывающее в состоянии покоя,
под твоими пальцами
вспенивается
штормом.

Осознавай последствия – не прикасайся ко мне рукой,
не красней пунцово,
задергивая шторы.

Лучше
завари нам чаю, преправленного печалью,
дорогами дальними
и
корицей.

Как масло, намажь отчаяние
на хлеб,
раздели
и отдай синицам.

Чудесный вторник, чудеснейший.
Поговорим о погоде, о твоей крестнице,
главное – не о будущем
или прошлом.

Не совершай оплошность.
Действуем осторожно.

А лучше – давай помолчим.

Ах! Из рта вылетают слова-моллюски,
кружат над огарком свечи,
щупальцами оплетают люстру.

Через открытую форточку всплывают слова-акулы,
мурены, скаты
и белые киты.

От нежности сводит скулы.

И невод забрасываешь ты
с ловкостью заядлого рыбака,
опытного морского волка.

И розовые облака осыпаются
дождем
на шаткую книжную полку.

Губы твои – восхитительная наживка,
для маленькой рыбки кои,
заблудившейся в большом море.

Время тягуче и зыбко,
я глотаю твою улыбку,
как стальной крючок.

Ответь:
ты веришь в меня
еще?

И цепкой актинией раскрывается твоя рука.

Осознавая последствия,
я касаюсь твоей ладони.

Море вспенивается. Расступаются берега.

Мы тонем.
Мы тонем.
Мы тонем.

«Солнце скользит по нагретым крышам...»

Солнце скользит по нагретым крышам,
плавит латунь и медь.
Вьются знамёнами волосы рыжих,
Бог расставляет сеть.

Я, юрким карпом, лавирую ловко
между цветных машин.
Жизнь – это сложная головоломка.
Как же ее решить?

Лето танцует под музыку улиц,
скачет подкожный пульс.
Юные дети шагают, целуясь,
прячут сердца от пуль.

Бог – старый снайпер, держит на мушке.
В смуглых ладонях сталь.
Смерть, улыбаясь, шепчет на ушко:
«я выхожу искать».

Пух тополиный бежит по асфальту,
где-то поет свирель.
Ноты тихонько касаются пальцев.
Бог намечает цель.

Брошенный кот и ненужный ребенок,
прячут в груди печаль.
Город глядит безразлично и сонно,
лучше не замечать.

Каждый потерянный и одинокий
ищет свою судьбу.
Мир открывает все карты, дороги,
лучше поверь ему.

Нет ничего, что не покорится
смелости и добру.
И самолет из бумажной страницы
сможет обнять Луну.

Легкой дороги неловким и странным,
сломанным и смешным.
Пусть ветер странствий залечит раны,
будут незримы швы.

Дети-бродяги, дети-скитальцы,
не опускайте глаз.
Просто сражайтесь, боритесь за счастье.
Время одно – «сейчас».

Утро июньского воскресенья —
чистое волшебство.
Лето дает тебе шанс на спасение,
не упускай его.

«Он скован в тягучей сонливости дней...»

Он скован в тягучей сонливости дней,
текущей по стенам квартиры в хрущёвке.
Он словно залипшая кнопка 'replay,
и в мае в углу стоит пыльная елка.

Нависшее вымя густых облаков
вонзает в глаза его молнии-спицы.
И время проносится мимо него,
как кролик с часами мимо Алисы.

Он заперт. Он пленник тяжелой судьбы,
сплошных неудач и позорных провалов.
«Подняться», «ускориться», «если бы», «бы», —
порывы опять глохнут под одеялом.

И ночью он шепчет в подушку: «Господь,
Всевышний, Ганеша и Будда,
так, если вы есть, и во мне ваша кровь,
прошу, покажите мне чудо».

И Бог улыбается краешком губ,
и крутит в ладонях своих папиросу.
Он мудр и стар, и немножечко груб,
и в сердце его антрацитовый космос.

Но пальцы его перемазаны в пыль,
волшебную звездную пыль с Альфераца.
Он любит усталых, неловких, кривых,
больных и озябших, и низшего класса.

И вот человек идет по мосту,
подошвы устало скрипят по асфальту,
и пар вылетает с обветренных губ,
и мелко дрожат занемевшие пальцы.

Но луч разрезает ночной небосвод,
и сыплется вниз белоснежная пудра.
А рядом стоит, усмехаясь, Господь.
И шепчет: «смотри,
это первое чудо».

Ступая все дальше в ночной тишине,
укутанный снегом и воющим ветром,
идет человек, тенью в свете огней
стальных фонарей, шагает к рассвету.

И где-то, на перекрестке дорог,
он видит бездомного, в порванной куртке,
за ним бежит пес, он промок и продрог,
и манит их сонность пустых переулков.

И этот бездомный, обшарив карман,
находит кусок зачерствелого хлеба.
Он делит его, съедая часть сам,
вторую – отдав псине тощей, облезлой.

И Бог произносит простые слова,
и голос его вливается в уши:
«смотри, это чудо под номером два.
Добро, что спасает погибшие души».

И в шесть, человек заходит в метро,
проходит к началу пустого вагона.
И в сердце его, пусть чуть-чуть, но тепло,
и может, не так безнадежно и злобно.

На станции в поезд заходит народ,
и в серой толпе полусонного люда,
он видит красивый, смеющийся рот.

И Бог говорит: «это – главное чудо».

Любовь заползает под плотную ткань
и стаю мурашек по коже пускает.
И так человека находит мечта,
и злая тоска от него отступает.

И Бог говорит, голос льется с небес,
и Бог улыбается, добро и мудро:
«весь мир состоит из прекрасных чудес.
Ищи. И найдешь свое личное чудо».

Этот город стоит на спине кита, он красив настолько же, сколь и стар, шпили башен воткнуты в небеса, от янтарных бликов слепит глаза. Там гуляют птицы по мостовым, и скользит по камешкам белый дым, там витает запах сырой травы, и Луна касается головы. Там цветы растут прямо сквозь асфальт, а под трели птиц безмятежно спать, там прохожих хочется целовать, и взлетают бабочками слова. Там танцуют желтые светлячки, огоньками крошечными в ночи, воздух очень сладок и очень чист, вечно зелен каждый древесный лист. Этот город стар, но беспечно юн, и ползет по стенам бессмертный выюн, там усталый путник найдет приют, и тебя, конечно же, тоже ждут.

И когда у тебя между ребер болит, просто вспомни – на небе есть синий кит, он сейчас, может быть, пролетает Мадрид, а быть может – над нашим домом парит.

Так давай сыграем с тобой в игру – ты даешь мне руку, и я веду, от осенних листьев и грустных дум, до созвездий ярких и ясных лун. Здесь кредит, работа, учеба, дом, но оставим все это на потом, мы войдем в космическое метро, обогнув коралловый атолл. А потом – по лестнице из дождя мы поднимемся, (я держу тебя), и ни слова больше не говоря, мы врата откроем из янтаря. Город встретит нас шумной болтовней бестелесных сильфов над головой, он красивый, радостный и живой, и как будто только для нас с тобой.

Ты смеешься, мой прагматичный друг? Значит, все же думаешь, что я вру? Я принес оттуда тебе звезду, вот, взгляни: под сердцем ее держу.

Этот город стоит на спине кита. А не веришь, можешь увидеть сам, подними свою голову к небесам – и сейчас он над нами ка-ча-ет-ся.

Он построит новый красивый город...

Он построит новый красивый город на могиле вырубленных лесов. Там, где облака обнимают горы, возведет уютный и светлый дом. Он посадит много цветущих вишен, вдоль дороги высадит тополя, и зеленой краской покрасит крыши, сделав их похожими на поля. Будет парк и пруд, и с десятков уток, пара ослепительных лебедей, и в любом из месяцев или суток, листья не оставят своих ветвей. Он проложит вымощенные дорожки и украсит радугой витражи, заведет собаку, и может, кошку, и на клёнах будут шуметь стрижи. Он подарит городу свое сердце – вечный двигатель и бесконечный свет, чтоб ее ладони могли согреться, его сердце будет всегда гореть. Он оставит городу свои руки, положив их в устье большой реки, нарисует голосом своим звуки. Звуки разлетятся, как мотыльки.

И когда последний кирпичик плитки ляжет на расстеленный тротуар, человек наденет свои ботинки, вокруг шеи теплый завяжет шарф, он запрет ворота замком надежным, ключ от них повесит себе на грудь. На огромном небе зажгутся звезды, и тогда он двинется в долгий путь. Он пойдет за реки, леса и горы, по его следам будет виться плющ, он пойдет, ведомый своей любовью, чтобы предать ей вот этот ключ. И на побережье большого моря, где с утра до ночи поет прибой, улыбнется ей, позабыв о горе: «я построил город, и он весь – твой».

И когда она рассмеется тихо, принимая этот прекрасный дар, человек вдруг станет бескостным вихрем, превратится в воду и белый пар. Став туманом легким, незримой дымкой, проведет ее до больших ворот, где ключом прозрачным, стеклянной льдинкой, она их тихонечко отопрёт. И тогда он станет травой и дёрном, застилая кожей своей асфальт, для своей любимой, но не влюблённой.

Чтобы было мягко ей наступать.

Сказка о вечности

Я расскажу тебе сказку о человечности, сказку о вечности я тебе расскажу. Небо качает звезды ладонями млечными, тихо ползет по облаку желтый жук. Мир на планете зиждется на неравенстве долларов, евро, юаней, рублей и вон.

Дженнифер Джонс не родилась неправильной.

Были неправильны мистер и миссис Джонс.

Школьная жизнь похожа на горки американские: завтра – падение, ну, а сегодня – взлёт. Ссадины на коленях заклеив пластырем, Дженнифер Джонс поднимается и идёт. Форма в пыли и юбка совсем измятая, драка сегодня со счетом четыре|ноль. И синяки расползаются темными пятнами, очень непросто быть на Земле другой. Ей не нужны ни платица, ни косметика, лучше с мальчишками бегать бы по двору. Галстук носить, лениво считать созвездия, да у соседки выкрасть бы поцелуй. Как ей ходить, задыхаясь, цепляясь рюшами? Складывать губы восторженной буквой «о»? Если машинки были ее игрушками, а от нарядных кукол несло тоской.

И когда мать приходит из школы, гневная, (знаете, Вашей дочери нужен врач), от ее крика мелко трясутся стены, и превращается в хрипы надрывный плач. Хватка отца безжалостная и цепкая, и на щеке от пощечины красный след. Каждое слово падает камнем, центнером, быть храбрым воином трудно в пятнадцать лет.

Только приказ родительский был не выполнен – у пациента под ребрами пустота. То, что сломалось – не склеить, да и не выпрямить.

Дженнифер Джонс делает шаг с моста.

Саймону Ли семнадцать – года тяжелые. Клёпки на куртке, да в глотке горчит табак. Вместе с друзьями опять прогуляли школу, тяжесть гитары лежит на его руках.

Взрослые всё решили – он будет доктором. Важный хирург, и в банке солидный счет. Будет квартира с большими стеклянными окнами, вид на красоты города круглый год.

Как объяснить им, что тошно от анатомии, от вида крови крутит узлом живот. Он живет музыкой. Он дышит ей и в ней же тонет, по вечерам в замшелом кафе поет.

«Брось эти глупости». Только вот «бросить глупости» – как на живую из сердца извлечь мечту. И, задыхаясь от чьей-то душевной скупости, Саймон под кожу вонзает себе иглу.

Нет ничего страшнее, чем быть незамеченным. Так страшно вырасти и потерять свой путь. Я расскажу тебе сказку о человечности, ты Расскажи ее детям. Когда-нибудь.

Каждый ребенок, чье сердце разбито взрослыми, и на чью шею Смерти легла коса, за крышкой гроба становится (вровень с звездами), рыцарем божьим в шелковых небесах.

Когда увидишь мой смятый след

Когда увидишь мой смятый след, услышишь выстрелы за спиной, поймешь, что против меня весь свет, поймешь, что мир на меня войной, оставь дела и запри в сундук, вели соседке кормить кота, рассеяв выдохом тишину, иди к знакомым тебе местам.

Лови сигналы на частоте, чужие сбрасывая звонки, (приметы: родинка на щеке и раздражающие шаги). Ищи меня в сводках новостей, в строке бегущей, в пустом окне, меня, продрогшего до костей, меня, стоящего в стороне. Меня, потерянного в себе и вечно спорящего с тобой, пускай меняется континент и пояс движется часовой. Пускай плывут под водой киты, а буревестник взлетает вверх, пока ты видишь мои следы, пока не продан последний смех, иди за мной, отыщи меня, в открытом космосе, среди льдин, от бега быстрого пусть горят глаза и щеки, и нет причин, чтоб защищать меня от судьбы и слепо следовать по пятам. И пусть на куртке осядет пыль, и пусть ботинки сотрутся в хлам, пока ты веришь в меня — я жив, и пусть тебе говорят, что я — всего лишь сказка, безумный миф, мозг пожирающий страшный яд, пускай меня отрицает свет, пусть от меня отказался бог, пусть я безмолвен, и глух, и слеп, и с губ слетает последний вздох, пускай меня замели пески, пусть под ногами дрожит земля, не отнимай от меня руки, не отрекайся, держи меня.

И до тех пор, пока ты со мной, пока ты веришь в меня еще, и на губах твоих моря соль, кусает ветер поверхность щек, а сердце гулко стучит в груди, и твой румянец затмил зарю, иди за мной, лишь за мной иди.

Ищи.

Я тоже тебя ищу.

«Прожектор лунного луча...»

Прожектор лунного луча
скользит по комнате.
Смотри:
танцует небо на плечах
большого города. Ахилл
пятой ступает на стекло
и издает предсмертный хрип.

Трясется деревянный стол,
и ощущается изгиб
твоей ладони на щеках
моих,
колючих, как наждак,
решимость превращая в прах.

И погружается чердак
в глубоких поцелуев звон,
одежды шорох и слова.

Как мячик отлетает стон
от стен. Ревнует голова,
ревнует сердце к ветерку,
что растрепал копну волос,
а ты возводишь к потолку
глаза (лазурь и купорос).

Я опрокидываю мир
на кривоногую кровать.
И зверь беснуется в груди:
(кусаться, ластиться, сжимать).

Но я молчу. Мой рот зашит
суконной нитью тишины.
Пусть город полуночный спит,
глота запахи весны.

Когда последний хриплый вздох
закатится в мою гортань,
ты смолкнешь, и смешливый бог
велит нам спать,
спокойно спать.

х

Змея рассветного луча
ползет по комнате.
Ты пьешь
невыносимо сладкий чай,
прикалываешь к платью брошь.

Привычно смаргиваешь сон,
целуешь в самый угол рта.
Там поезд ждет тебя, перрон,
билет к неведомым местам.

Мир двинется: и будет май,
подъезды, улицы, метро.

Я заточу любовь в янтарь,
и положу в карман пальто.

Целуй меня

Я обменял спокойный сон на невесомый поцелуй.
Пока ты в комнате со мной —
целуй меня,
целуй,
целуй.

Целуй меня, пока темно, пока зашторено окно, под звуки старого кино, под всепрощающей Луной. Когда на нас глазее мир, в троллейбусах, такси, метро, под осуждением людским, под брань старушек, гул ветров. Под визг клаксонов, вой сирен, под грохот скорых поездов, прижав ладонь к дорожкам вен, не позволяя сделать вдох, к моим обветренным губам прильнув и затопив собой. Пускай в висках гремит тамтам, я знаю: так звучит любовь.

Целуй меня, когда я слаб, когда я болен и простыл, когда тоска из цепких лап не отпускает, и нет сил. Когда я выхожу на след, когда выигрываю бой, под шёпот старых кинолент, под песни, что поет прибой.

Пусть за порогом бродит чёрт, пусть порт покинут корабли, пусть будет хлеб и чёрств, и твёрд, и гравитация Земли исчезнет, мир затянет льдом, застынут стоки медных труб, мы будем греть друг друга ртом, дыханием с замерзших губ.

Пусть солнце плавит небосвод, и пусть болит, и пусть грызёт.

Я поцелую — всё пройдет.

Ты поцелуешь — всё пройдет.

«Научи меня так говорить – будто пряхть...»

Научи меня так говорить – будто пряхть,
чтобы нить оплетала твои запястья,
и тянулась к моим, становясь кандалами.
Научи меня так целовать, будто нами
управляют не деньги, не жажда и похоть.
Научи меня так обнимать, будто в кокон
крепко кутать тебя, и боясь шевельнуться,
слушать хриплые ритмы тягучего блюза,
наслаждаясь биением тихого пульса
под моим большим пальцем. Не строя иллюзий,
обещать себе верить в тебя до финала,
до последнего вздоха, до атомной бомбы.
И качаясь на волнах постельного жара,
прикасаться к твоим идеальным изломам
с восхитительным трепетом, гладить губами,
понимая, что мы совершенны лишь вместе,
понимая, что мы есть чистейшее пламя.
Научи меня быть беззастенчиво-честным,
не бояться суждения, слова, ошибки,
поцелуя в толпе, обещания, плача,
неумелости, смеха, широкой улыбки,
не бояться быть тем, кто считает иначе.
Превращая «люблю тебя» в слово-молитву,
твоей верой ведомым, всегда возвращаться
с обожженного поля бессмысленной битвы,
обнимая ладонями теплую чашку
черной байховой жижи с Луной из лимона,
целовать твои мягкие русые пряди,
прижиматься к коленям твоим, как к амвону,
обретая бессмертие в наших объятьях.

«Это странное чувство перед большим дождем ...»

Это странное чувство перед большим дождем —
когда древние боги танцуют, закрыв глаза.
Когда черные птицы когтями взрыхляют дёрн,
и с отчаянным криком врезаются в небеса.

Когда белые простыни, сохнувшие в саду,
тянут нити веревок, стремятся сорваться прочь,
когда ветер поет о смерти, касаясь скул,
мелкой стаей мурашек по телу проходит дрожь.

Бум! — и небо взрывается, яростно зарывав,
ты стоишь под потоком в одежде, но ты — нагой.
И рубашка, промокшей тряпкой прильнув к плечам,
вдруг становится инородной, совсем чужой.

Но как сладко... Как сладок воздух, как он тягуч,
и как жадно трепещут ноздри, вдыхая пыль.
Становись на колени, молись эшелонам туч,
раздевайся до кожи, сминая рукой ковыль.

Нет ни времени, ни пространства, есть только дождь.
Есть бездонное небо и глинистая земля.
Ты родился в воде, в воде же ты и умрешь,
так ныряй в нее глубже, отрезав все якоря.

Упивайся свободой, подставив лицо дождю,
омывай свое прошлое с тонких прикрытых век.
Я даю тебе истину. Истина — тот же ключ,
будь силен и спокоен, маленький человек.

А когда станет тошно, да так, что и не вдохнуть,
и под боком не будет дружеского плеча,
спрячь ладони в карманы, не трогай ногтями грудь,
дотерпи до того, когда будет дождливый час.

Прокричи свое имя, пусть ливень поглотит крик,
твои тонкие вены – извилистый водоём.
Пей холодные слезы господней большой любви.
Будь всегда молодым,
вечно пляшущим под дождем.

Лоскут

У меня между ребрами есть дыра, потому я ищу подходящий лоскут. Вот в кармане правом лежит игла, нить вокруг запястья – суконный жгут. Я иду по свету и свет со мной: спички неуверенный огонек разрезает тьму и сражаясь с тьмой, будоражит тени у самых ног. Они льнут к лодыжкам и сапогам, превращаясь в лужи тягучей тьмы. Бог найдет меня по сырým следам – черное на белой земле зимы. Я иду по Северу, в тишине, в бороде снежинки и на висках. Завывает ветер в грудной дыре и сжимает душу в стальных тисках. Я ищу заплатку, кусок сукна, или лист железа, простой картон, я иду туда, где цветет весна, пусть застрял в гортани печальный стон.

Говорят, за морем, за сотни верст, есть девица, краше самой луны, и она так ладно, искусно шьет, что из грёз тончайших латает сны. Будто нить ей сплел золотой паук, а кузнец небесный сковал иглу, и сукно, коснувшись умелых рук, шелковым становится. Поутру, когда солнце сонное к полю льнет, она в лес идет за полынь-травой, из цветов душистых рубашки шьет, да белье стирает живой росой. Говорят, в глазах ее блики звёзд, говорят, что губы ее – как мак. Может та девица меня спасет? Пока я еще не песок и прах.

Я пойду за девять больших земель, ни воды, ни хлеба не проглотив. Пусть оскалит зубы ужасный зверь, пусть корабль мой налетит на риф. Я смуглее стану, но и сильнее, пусть сотрутcя новые сапоги, пусть заменит мне мох лесной постель, повстречаются на пути враги. Я пойду за сказкой, что ждёт вдали, чья игла острее, чем жало ос. И она зашьет мой разрыв в груди, ослепит сиянием русых кос. Пусть проходят дни и мой путь далёк, пусть мой бог совсем от меня устал, я пройду десятки кривых дорог, за тем самым ценным, что потерял.

«Тени деревьев танцуют за окнами...»

Тени деревьев танцуют за окнами,
море стучит об прибрежные камешки.
Лето врывается вдохами в легкие,
греет костров обжигающим пламенем.

Греет песком раскаленным, щекочущим,
красит загаром предплечья горячие,
по перекресткам будней клокочущих
смело шагает твоё Настоящее.

Видишь его в стекле старой булочной?
В зеркале автомобиля стоящего?
По свежевывытым, узеньким улочкам
быстро шагает твоё Настоящее.

Ну же, беги за ним, прочь от компьютера,
прочь от смартфона, учебника химии,
нити шнурков на кроссовках распутывай,
связывай крепко неровные линии.

Прочь из квартиры, спускайся по лестнице,
трогай перила ладонями теплыми,
скрипом подошвы, мелодией песенной,
голосом тихим, звенящими стеклами,

дом пробуди, и старушек на лавочках,
и голубей, полусонно воркующих.
Взгляд удержи на забывшихся парочках,
жадно горячие губы целующих.

Мимо котов, разомлевших на солнышке,
мимо прохожих, машин и троллейбусов,
мимо реки, где воды лишь на доньшке,
мимо бумажного смятого крейсера,

быстро беги, богом ветра, мгновением,
чьей-то улыбкой мелькнувшей/исчезнувшей,
бризом морским, вздохом и дуновением,
и нерастраченной, скопленной нежностью.

Только смелее, учись быть отчаянным,
крепко сжимая ладони дрожащие.
Непроторённый путь лучше и правильней,
ждёт за порогом твоё Настоящее.

Бейкер-стрит

Бежать по старой Бейкер-стрит, пугая сонных голубей. Сбивать, как ртуть, сердечный ритм, искать ногами в лужах мель. Скользить по мокрым мостовым, подошвами назло стуча, и разрезать туманный дым мечом фонарного луча. Бежать быстрее всех ветров, ладонью смахивая пот, пусть полы черного пальто, как крылья ворона – вразлёт. Дышать надрывно, тяжело, шипеть как кошка миссис Джонс, когда разбитое стекло врезается, как острый нож. Глядеть украдкой на часы, не разбирая, впрочем, цифр. И с пылом бешеной лисы, нестись, прохожих вялых сбив. И слыша чертыханье вслед, не бросить даже «извини», пусть песня маленьких монет в кармане весело звенит. Пусть Лондон стар, пусть Лондон сер, пусть полон тайн и мертвецов, пускай Луна бледна, как мел, и её скорбное лицо укрыто саваном из туч, и ей пора призвать рассвет, а Бог всемогущ и могуч,
но я бегу, бегу к тебе.

И пусть рассыплется слова страницами иссохших книг, пусть поседеет голова, застрянет в глотке слабый крик. Пусть будут жалить и колоть, пусть будут резать и кусать. Пусть тронет судорога плоть, я буду лишь бежать, бежать.

Бежать по сонным площадям, глотая воздух жадным ртом. Пусть я и варвар, и смутяня, и весь почти покрылся льдом. Пусть в горле жжётся и горит, и я не имя – имярек. Бежать по старой Бейкер-стрит,

но опоздать на целый век.

«Скорый поезд до города N, где солнцем согрета земля...»

Скорый поезд до города N, где солнцем согрета земля.
Моя непослушная Энн, ты все еще помнишь меня?
Здесь ржавый кленовый лист цепляется за рукав,
а теплая осень спит, свернувшись клубком на руках.
Ты всё ещё слушаешь джаз? Срываешь цветы орхидей?
Не любишь избитых фраз и дикость нелепых идей?
Ты больше не носишь кос? Не пишешь сюжеты драм?
И твой наглый рыжий пес не будит тебя по утрам?
А помнишь, как я читал судьбу по твоим рукам,
и солнце веснушек след размазало по щекам?

Платформа под номером пять, и поезд до города N.
А мне б повернуть время вспять, моя незабвенная Энн.
Я помню центральный парк, и твой покрасневший нос,
как я отдавал свой шарф и чушь несусветную нес.
Пустые вагоны метро, ты помнишь – друзья навек,
за поднятый ворот пальто мне сыпался мокрый снег.
Ты знаешь, я повзрослел. Стал сам на себя не похож.
Моя непослушная Энн, у взрослых вся истина – ложь.
Табачное тлеет нутро – я так и не бросил курить,
но если не ты, то кто, сумеет меня изменить?
А поезд до города N, уходит, по рельсам гремя,
моя невозможная Энн, ты все еще помнишь меня?

«Танцуй на острых клыках огня...»

Танцуй на острых клыках огня,
Танцуй, глаза закрывая.
Танцуй, сегодня луна – твоя,
и ветер тебя обнимает.
Танцуй, открывая небу лицо,
и смело шагай в бездну.
Гори, ведь в конце концов,
и ритмы гитар исчезнут.
Кружись, упиваясь теплым дождем,
и мокрой дорожной пылью.
Не верь никому – мы с тобой не умрем,
пока есть за спинами крылья.
Пока Земля вертится, и Млечный путь,
из Лунных ладоней льется,
танцуй, моя осень, когда-нибудь,
Ад Раем земным обернется.

Трепчат кастаньеты в смуглых руках,
гитара легка и звонка.
Палящее солнце вязнет в песках,
скользит по прибрежной кромке.
Цыганская кровь под кожей кипит,
в груди отзывается эхом.
Танцуй, мое сердце, выстукивай ритм,
шуми заразительным смехом.
И сотни дорог впереди, сотни дней,
и сотни несозданных песен.
Мы вместе. А вместе – значит сильнее.
Пусть каждый нам враг, а мир тесен.

Танцуй же, со мной или без меня,
о бедах своих забывая.
Гляди, я украл вороного коня,
и ключ от небесного края.

Гори, видишь, сердце мое горит,
песчинки царапают плечи.
Я буду любить тебя, слышишь, Лилит? —
Я буду любить тебя вечно.

«Я не верю в красную нить судьбы...»

Я не верю в красную нить судьбы,
и дожди, идущие в январе.
В горле комом горькое – «если бы».
Если бы ты только была моей.
Если бы я родился в надцатый век,
времена королей и железных лат,
Я бы вызвал на бой весь проклятый свет,
небеса и землю, Эдем и ад.
Ты смогла бы верить моим стихам,
и словам, что кровью звенят в ушах:
«Я тебя никому никогда не отдам»,
и «ты знаешь, чертовски болит душа».

Я рожден в двадцать первый, усталый век.
У меня – сквозная дыра в груди.
Я не вижу цветов и огней во сне,
только белую пудру сухой пурги.
Снег скрипит под ногами, мой Север тих.
И неважно, сколько ведет дорог,
Мне суметь бы только одну найти,
ту, что выведет прямо на твой порог.
Всё в тебе неуместно, но так легко.
Льется теплая медь золотистых кос.
Мне бы только коснуться тебя рукой,
и у ног свернуться, как верный пес.
Ты из солнца, и кажется, из песка,
сплетена из тонких, звенящих струн,
Поднебесных гор и прибрежных скал,
сизокрылых и яснооких лун.
Всё во мне – это иней, сырой туман,
сотни книжных страниц и табачный дым.
Я не знал, что такое – сходить с ума.
Я не знал – это значит, я был пустым.
В твоих венах – живая драконья кровь,
а во мне – металлический серый сплав.

Тот, на небе, кто раздает любовь,
в этот раз ошибся, так был не прав.

Я не верю в сказки, не верю в сны,
мы с тобой из разных земных широт.
Я не видел крыльев цветной весны,
всё во мне – это ломкий и колкий лед.
Только в руку врезается красная нить.
Двадцать третье холодное января.
Это бред. И такого не может быть.
Но на землю падают капли дождя.

«Двадцать тысяч лье...»

Двадцать тысяч лье
под
водой.
Которая плещется
Между
мной
и
тобой.
Я живу у тебя в груди,
За костяной закрытой дверцей.
Я – твоё
неизлечимо
больное
сердце.

Двадцать тысяч дней
без тепла.
Зима заблудилась в городе,
и не ушла.
Белой метелью влетела
в твоё окно,
Ставни закрыла,
и
залегла на дно.

Знаешь, а мне бы пару незримых рук,
Я бы варил тебе кофе, готовил чай.
Просто, пожалуйста, мой дорогой друг,
Сердце своё когда-нибудь повстречай.

Те, кто действительно необходим,
Не предадут и не причинят боль.
Пусть будет

он
сильным один,
И непобедимым
вместе
с тобой.

Двадцать тысяч лье
под
водой.
Которая плещется
Между
мной
и
тобой.
Я живу у тебя в груди,
За костяной закрытой дверцей.
Я – в тебя
безнадежно
влюбленное
сердце.

«Кафельный пол, на стенах трещины...»

Кафельный пол, на стенах трещины,
водопроводная грязь.
Я бы любил тебя, даже если бы
ты
не родилась.

Даже если бы
ты появилась на свет
мужчиной,
чудовищем,
дьяволом,
деревом,
птицей,
одной из комет,
стрелой,
отчаяньем,
яростью,
стихией, что прячет в недрах Земля —
я бы любил тебя.

Даже если бы
ты не была
моей,
а была
подневольной,
рабыней,
чей-то женой,
подарившей ему дочерей,
сыновей.
Обезумевшей,
слабой,
смертельно больной,
собиравшей в ладони искры огня —
я бы любил тебя.

Даже если бы ты была создана,
ветром,
пеплом,
порохом,
бурей в пустыне,
островом,
океаном,
планетой,
городом,
той, никогда не любившей меня —
я бы любил тебя.

Кафельный пол, на стенах трещины,
тусклый, мигающий свет.
Я буду любить тебя, даже если
даже если
тебя
нет.

«Ты однажды придешь в мой дом...»

Ты однажды придешь в мой дом,
мой маленький дом в лесу.
Скажешь весело: «здравствуй, Том.
Я пришел. Ты проспорил су».
Бросишь пыльный рюкзак на стол,
и за ухом почешешь кота.
Белой глыбой с заснеженных гор,
в моем сердце умрет пустота.
Но я сделаю вид, что не ждал.
Не скучал, отмеряя дни.
Просто я очень сильно устал.
Я чертовски устал от любви.
От любви ко всему и всем:
к близким, женщинам и друзьям.
Ведь привязанность – тот же плен.
Полюбить – потерять себя.
Я один. Разве это грех?
У меня есть табак. И кот.
Я же счастлив. Счастливей всех.
И в груди не болит, не жжет.

Твой французский смешной акцент,
итальянский кипящий нрав.
Ставил су? Я поставлю цент,
(будто бы окажусь неправ),
ты, конечно, свернул с пути,
или встретил свою судьбу.
Или может, нашел синих птиц,
тех, что птицами счастья зовут.
И ты вспомнил, что где-то есть друг.
(раньше ты всем делился со мной:
сигаретой, теплом своих рук,
счастьем, горечью и виной).
Ты расскажешь, как мир постарел.
И про джунгли больших городов.

Что нет больше сражений и стрел,
не приходят колдуньи из снов.
Может быть, я в ответ промолчу.
Может быть, улыбнусь слегка.
Я отвык от эмоций и чувств,
став одним из кривых зеркал.
Ты отставишь вино и чай,
/ты все время куда-то спешишь/,
скажешь весело: ««не скучай»».
И уйдешь в свою новую жизнь.

Я один. Разве это грех?
У меня есть табак. И кот.
Я так счастлив. Счастливей всех.
Я счастливейший идиот.

Я допью свой остывший грог,
и на плечи накинута пальто.
Прочь из дома, сквозь дым и смог,
безнадежно надеясь, что
ты однажды придешь в мой дом,
мой заснеженный дом в лесу.
Скажешь тихо: ну, здравствуй, Том.
Я пришел.
Я тебя спасу.

«Год за годом, двадцать четыре на семь...»

Год за годом, двадцать четыре на семь,
есть двое – ты и твоя тень.
Но, знаешь, в каждой секунде дня —
тень, что идет за тобой,
это – я.

Вот ты шагаешь по майской Москве.
Я, /большей частью/, невидимый в темноте,
защищаю тебя от демонов и злых людей.
Возвращайся домой скорее, моя Лорелей.
Мир закован в призрачный лунный лёд.
И по улицам тихо крадется ночь.
Ты, как миссис Офелия Тодд,
ищешь кратчайший путь.
И
исчезаешь
прочь.

Мягким светом мерцает синий экран,
в хрупкой кружке дымится горячий чай.
Я – та пыль, что спрятана по углам.
Не смотри на меня. Не замечай.
Я иду за тобой след в след. Охраняю сон.
Я сижу у кровати, закутанной в тишину,
что растает под первый трамвайный звон,
под будильника трель, объявляющего войну.
Знаешь, я – это снег и горячий песок.
На стене дрожащий причудливый свет.
Я за твоей спиной. И я – у твоих ног.
Я – это ты.
Но меня
нет.

Будь бесстрашной,
двадцать четыре на семь.
И пусть рядом только твоя тень.
Знай, что в каждой секунде дня,
тень, что идет за тобой,
это — я.

«Это мой первый раз ...»

Это мой первый раз —
мятных губ твоих вкус.
Это твой первый джаз.
Это мой первый блюз.

Ты – василиск,
и
я целую твои глаза.
Горек и сладок риск,
в жилах кипит азарт.
Ты закрываешь дверь,
я – срываю замок.
Ты говоришь: «зверь».
Я говорю: «Бог
отпустит мои грехи.
Если же я – волк,
значит,
беги.

Ты – приглушаешь звук.
/разум, спокойных снов/
Слово из шести букв?
– только бы не «любовь».
Делаешь шаг назад.
Плавится
пар
кет.
Шепчешь:
«нас ждет Ад».
Я говорю: свет —
это большой обман.
Света и Тьмы нет.
Свет – это ты
сам.

/ТЫ – ЭТО МОЙ СВЕТ/.

Ты – василиск,
и
я закрываю твои глаза.
Горек и сладок риск.
Сорваны тормоза.

Это твой первый джаз.
Это мой первый блюз.
Это мой первый раз.
Когда
я
лю
б
лю.

«Если есть дорога, то есть и дом...»

Если есть дорога, то есть и дом.
Если море есть, значит есть причал.
Мне не нужен меч, мне не нужен трон.
Я лелею только свою печаль.
Если слово есть, значит есть и смысл.
Если сердце есть, значит будет боль.
Если «я и ты», означает – «мы»,
из осколков льда собираю «любовь».

Я иду по краю своей судьбы,
неприметный странник, седой старик.
Снова «если бы», превращая в «быть»,
опускаю флаг, покидаю бриг.
И в ночной глуши, на лесной тропе,
я ложусь на влажный и мягкий мох.
Приходи ко мне, приходи во тьме,
дверь откроет Янус – двуликий бог.
Проведи меня по безумным снам,
будь моей Ариадной, затем – Лилит,
Где Землей становится океан,
где ложится тень у могильных плит.
Там, где шпили башен стремятся ввысь,
я приду устало к твоим ногам,
Под твоей рукой замирает рысь,
отчего же в сердце моем ураган?
Говори со мной, обнимай меня.
На воде круги, на руке рука.
На костях песок, на песке земля.
Длится сон лишь час, но прошли века.

Я проснусь наутро больным и злым.
Соберу котомку, накину плащ.
Раскурю табак, наколдую дым.
И пойду на свет из зеленых чащ.

Если есть дорога, то есть и дом.
Если море есть, значит есть причал.
Я отбросил меч, я покинул трон.
Взял с собой лишь только свою печаль.
Мы пойдем с ней вместе сквозь дождь и снег,
до твоей могилы в сырой земле.

Отчего ты больше не снишься мне?
Оттого, что больше не веришь мне?

Ариадна, ведьма, моя Лилит,
я грызу зубами земную твердь.
Я иду к тебе, той, что сладко спит.

Ведь любовь всегда побеждает смерть.

«И мир отзовется стуком...»

И мир отзовется стуком
камней у тебя в груди.
Вдогонку сбежавшему солнцу, ты крикнешь: ««не уходи!»»
А в море – янтарные бусы рассыпал старик-звездочет.
Твой волос, бесхитростно-русый, играет с горячим плечом.
Иди. Все дороги мира —
твои. Все моря – в тебе.
Будь ангелом белокрылым.
Будь дьяволом.
Верь себе.
Сбегай от людей и улиц. Сжигай за собой мосты.
Ты злишься, смеешься, куришь.
Ты разный. Но это – ты.
Пусть взрослые тянут в будни, знай, правила здесь просты:
молись Муруге и Будде, носи вместе нож и кресты.
Люби на тебя похожих. Люби непохожих всех.
Вгрызайся словами в кожу. Любовь без любви – есть грех.
И мир отзовется звуком
всех струн у тебя в груди.
Твой ангел подаст тебе руку, преграды сметет с пути.
Иди, ты, дитя Сварога, сын викингов, дочь волков.
Идем же.
В нас есть дорога.
Есть дьявол.
И с нами Бог.

«Вот дорога: гладкий седой асфальт...»

Вот дорога: гладкий седой асфальт.
Самый край планеты. Чертополох
собирает пыль и несется вдаль.
Я – обычный дух. Придорожный бог.
По карманам – камешки и песок,
и рассвет уснул на моем плече.
Я обычный дух. Бог семи дорог.
Но сказать по правде, то я – ничей.
Я однажды вышел из дома, в путь.
На удачу взял талисман и нож.
Помню, как весна забиралась в грудь,
и за дверью бил в барабаны дождь.
Я пошел, не видя земли и звезд.
Так шагаю я добрых надцать лет.
Ну и что с того? Мир не так уж прост.
У семи дорог не один секрет.
Вот Алиса Лидделл, идет, спеша,
по заросшей тропке, в страну чудес.
Как сказать ей: весь обойди ты шар,
Чудеса сокрыты в самой тебе.
Вот дорога: желтый чудной кирпич.
Там идет в страну по названию Оз,
Элли. Знала б ты, что сумеешь постичь
счастье может только твой черный пес.
А вот Питер. Здравствуй! Как Неверленд?
Как здоровье Венди? Как старый Крюк?
Ты все так же весел, всё без проблем?
Выпьем вместе грога, мой добрый друг.

Все они идут по своим делам —
кто-то ищет путь, кто-то ищет дом.
От семи дорог да к семи ветрам.
Только, друг мой, истина скрыта в том:
мудрость мира и мудрость твоей души,
чудеса и ведьмы – сплошной обман.

Все что есть – дорога. Так поспеши,
капюшон набрось, выходи в туман.
По карманам – камешки и песок.
И закат уснет на твоём плече.
Ты обычный дух. Бог семи дорог.
Но сказать по правде,
совсем
ничей.

«Восемь пятнадцать, обычное утро...»

Восемь пятнадцать, обычное утро.
Ты надеваешь наушники, кеды.
Кто на работу, кто-то – на службу.
Ты идешь в школу. Так хочется лета.
Тучи на небе, но солнце в кармане,
звякает тихо медной монеткой.
Ты – заплутавший космический странник.
Звезды висят на рябиновых ветках.
В городе N дожди и туманы.
Снова синоптики врут про погоду.
Ты в лабиринте из лжи и обмана.
Есть свет и тьма, но нет мастера Йоды.
Кот напевает блюз на балконе,
тихо крадутся сильфы по крышам.
Музыка ветра в стеклах оконных.
Но исполнитель не виден, не слышен.
Стаи прохожих – нашествие зомби.
«Где Ваше детство, мистер в двубортном?»

Ты в лабиринте. Но все же свободен.
Взять бы рюкзак, да отправится в Портленд.

Десять ноль две. Счет идет на минуты.
Алгебра, цифры. Рисунки в тетрадке.
Рядом – Том Сойер, зевает все утро.
Джек у окна жует шоколадку.
Ты не герой, не солдат и не рыцарь.
Лишь младший сын Веги и Альтаира.
Как только вздумалось им пожениться?
Встречи раз в год и дележка квартиры.
Ты проживаешь на альфе Центавра
(дом двадцать Б, квартира двенадцать).
В городе N воздух отравлен.
Мелко дрожат занемевшие пальцы.

Мимо бегут Питер Пэны и Венди.
Ты – НЛЮ, непонятный и лишний.
Кинешь записку в бутылку из-под бренди:
«Немо, ответь! Как прием? Меня слышно?»

Три часа дня. Выбегаешь из школы,
спешно рюкзак закинув за спину.
Вновь лабиринт. Пьешь холодную колу,
мятной жвачки тянешь резину.
Город пугает, скалится волком,
пугает карты, провалены квесты.
К альфе Центавра – три остановки.
Лучше пешком, в троллейбусах тесно.

Тесно в пределах этого мира.
Ночью ты слышишь звуки прибоя.
Сквозь монолитные стены квартиры,
в дом забирается лунное море.
Лунные камни вместо брелоков,
двадцать ступеней – и выход на крышу.
Кто же домой после уроков?
Город внизу. Поднимаешься выше.
Ты одинок, ты не влился в систему.
Пусть. У системы свои заморочки.
Вырастешь, вызубришь все теоремы,
над буквой *i* расставишь все точки.
Из лабиринта нет выхода, знаешь?
Твой лабиринт находится в сердце.
Стены не рухнут, пока не взломаешь
и не откроешь последнюю дверцу.

Семь сорок три, забегаешь в квартиру.
Гулко от стен отлетает: «я дома!»
Где-то внутри сумасшедшего мира
слышится скрежет стальных шестеренок.
Ужин из пачки – всего понемногу.
Пишешь на мэйл Альтаиру и Веге:
«вы выбрали мне путь и дорогу.

Баста. Отныне — я сам все сумею».

Лунное море вливается в уши.

«Слушай, мой мальчик, внимательно слушай:

Бог дал тебе совершенную душу,

не позволяй ее портить и рушить».

Вот бы сломать все земные законы —

за горизонт, к Кассиопее.

Пусть ты один из миллионов.

Но миллионы тебя не заменят.

Двадцать три десять. Искры в ладонях

пляшут на самых кончиках пальцев.

Аврора сидит на небесном балконе,

звездный узор вышивает на пальцах.

Воют за стенами волки и баньши.

Мчится по небу ночь в колеснице.

Спи, завтра встать придется пораньше.

Твой звездолет улетает в семь тридцать.

Элли

Пальцы в чернилах, пары, злой препод. ВУЗ наконец отпускает домой. Осень снаружи, под свитером – лето. В модных наушниках шепчет прибор. Шарф толстой вязки, в солнечных прядях ветер запутал листву и траву. Элли из сказки шагает не глядя, /может ее и не Элли зовут/. Небо над городом – рыжим драконом, дразнит высотки: «попробуй, допрыгни!». Сонные кошки на старых балконах, призрачных зайцев зовут в свои игры. Все дети осени просят шамана: «пусть День Рождения пройдет без дождя». Духи дорожные рыщут в карманах, камни цветные в браслетах звенят.

Элли непросто – корабль ее молод, море бушует и бьет по корме. Сциллой зубастой оскалился город. Звезды на небе – парадом-алле. Хочешь не хочешь – придется сражаться. Спорить с религией, Злом и Добром. Тот, кто научит ее улыбаться (просто, без повода), будет потом. Элли рисует, ведет по бумаге, белый листок превращая в Багдад. Джинны, ифриты, колдуньи и маги, солнечный шар ядовит и пузат. Тонкой вуалью реального мира жизнь накрывает: «„бросайте мечтать!“» Есть вещи важные: деньги, квартира, братья, учеба, отец и мать. Быть юным взрослым – очень непросто, верить кому-то – еще сложнее. Каждый из нас словно маленький остров, в водах огромных и бурных морей. Только у Элли есть тайна, большая. Скрытая в маленьком сундучке: Элли сияет. Так ярко сияет, что ей не нужен искусственный свет.

Свет ее сердца мерцает в тумане, желтым блуждающим огоньком. Этот маяк никогда не обманет. Где ее сердце – там ее дом.

Падать с деревьев стало мейнстримом в узком кругу ярко-желтой листвы. Жаль, что вакцину от хмурого сплина мир не придумал поныне, увы. Триста шагов – и дыхание парка, солнечный луч согревает теплом. В прошлом осталась школьная парта, за горизонтом маячит диплом. Скоро все будет: любовь, как из сказки. Принц, без коня, но зато – настоящий. Время научит срывать злые маски, каждый, кто ищет, точно обрящет. Все еще будет. Пусть день неудачный. Пусть сердце бьется не в такт с судьбой. Элли не плачет. Герои не плачут: меч берут в руки, бросаются в бой.

Ну, а пока – она ищет дорогу, зверя души приручает, и ждет. Осень уносит солнце в берлогу, в небе бумажный парит самолет. Пальцы в чернилах, пары, злой препод. Шесть дней недели замазаны мелом. Элли шагает, за ней идет лето. Боги хранят всех влюбленных и смелых.

«Вот город...»

Вот город,
пустой, как моя душа,
читает стихи Зиме.
А я иду мимо, подошвой шурша,
и шапкой ловлю белый снег.
Есть некто во мне, кто меняет места
и путает адреса.
Здесь главное правило – не опоздать,
пока он считает до ста.

Тик-так.
И рушится Бруклинский мост.
«Тик-так» —
говорит Биг-Бен.
Прыжок, и кометы кошачий хвост
мерцает в моей руке.
Я Маленький Принц, не видевший лис,
не знающий запаха роз.
Считай до семнадцати,
и отвернись.
Ищи меня в море из звезд.

Ищи меня в чьих-то влюбленных глазах.
В словах, что имеют смысл.
Узнай меня в чьих-то бесшумных шагах,
в на стенах начерченном «МЫ».
Храни меня, как священный Грааль
хранил Король-рыбак.
Я сказка. Я миф. Далекая даль.
Песок на твоих губах.

Держи меня крепко,
пока я иду,

бреду
по твоим следам.
Поставь на мне метку,
заметку одну,
оставь отпечаток и шрам.

В толпе непохожих-похожих людей,
в холодных потоках дождя,
я тихо иду к самому себе.
Ищи,
ты такой же, как я.

Вот город,
пустой, как моя постель,
играет бессмертный рок.
И первое правило в нашей игре:
быстрее нажать на курок.
Пиф-паф.
Мне больше нечем дышать.
Пиф-паф.
Сквозное в груди.
Я
очень
сильно
хотел убежать.
Мой крест на тебе:
беги.

Беги от богов, религий и войн.
Беги, как взбесившийся зверь.
Беги. Я здесь, стою за спиной.
Беги к самому себе.
Найди его в чьих-то влюбленных глазах.
В словах, что имеют смысл.
Узнай его в чьих-то бесшумных шагах,
в на стенах начерченном «мы».
Храни его, как счастливую вещь,
как память,

как поцелуй.
Найди его,
крепко прижми к себе,
укрой от снегов и бурь.

Вот город пустой встречает весну,
и сердце стучит не в такт.
Беги без оглядки, ищи свою суть.
Ты слышишь?
Тик-так.
Тик-так.

На краю Земли

На краю Земли, у большой реки, где индеец точит свой томагавк, где быстра вода и шаги легки, не дают пощады своим врагам. Я иду, усталый, больной и злой, намотав на руку цветной платок. Здесь ползет змея, и москитов рой, нет стеклянных окон, больших дорог. Сердце мира бьется среди цветов, среди ярких лилий и белых калл. Здесь не важно, кто твой король и Бог, был ты праведным или бесчестно крал. Револьвер заряжен, шесть верных пуль, кобура покоится на бедре. Город мой играет аккорды бурь, я иду по мягкой, живой земле.

Жалкой крысе офисной не понять: в заскорузлой каменной скорлупе, приучившись есть, потреблять и спать, не найдешь себя, не придешь к себе. Я иду сквозь влажный и жаркий смог, через джунгли, скалясь зверям в ответ. Мир прекрасен, правилен и глубок, оглядись,пусти в свою душу свет. Не лелей проблемы. Жалеть себя – это дело трусов и томных дам. В серость будней смело добавь огня, подставляй свой парус семи ветрам. Только в трудностях вырастет Человек, станет жестче коже, упрямей взгляд. Не кляни Злой рок за столом, в тепле, ведь Судьба сама не придет к дверям. Выходи из дома, шагай вперед. Жизнь равна движенью, словам, делам. Растопив хоть чей-то подкожный лёд, станешь совершенней и лучше сам. Не завидуй людям, не критикуй, разъедает сердце подобный яд. Времени в обрез, так не трать впустую. Время – не монета, не взять назад. Помогите тому, кто не может встать, у кого на ужин лишь черствый хлеб. Научись любить, верить, понимать, и в крошечной тьме создавать свой свет. Путешествуй, думай и изучай, спи в палатках и разводи костры. Пей из термоса полустывший чай. Не своди свой взгляд со своей мечты. Так иди вперед, через пыль, метель, по пескам горячим, ночуй в степях.

Ты найдешь Дорогу, любовь и цель.

И в конце-концов

обретешь

себя.

«Я сжигаю ненужные вещи...»

Я сжигаю ненужные вещи
и бросаю ненужных людей.
Знаю: этот сон будет вещим.
Пусть он сбудется
поскорей.

Лес шагает вдоль узкой дороги,
под колеса бросается снег.
Боже, ты помогаешь убогим.
Я убог.
Помоги же мне.

Минус тридцать. Рисует граффити
холод на лобовом стекле.
На олене с оленем свитер,
колокольчик звенит на руке.

Закурить. Не курил два года.
Чуть заносит, вцепляюсь в руль.

[Наслаждайся своей свободой.
Наслаждайся,
глота
и жуй.]

Как зовут меня – Кай или Каин?
– отвечай, Отче наш, да не лги.
И большими своими руками,
из осколков меня
собери.

Двадцать лет – узелком на память.
И никто не ждет.
Никого не жду.

Я смертельно, критически ранен,
/кровь течет, наложите жгут/.

Еще тысяча метров до цели.
На обочине, древний старик
голосует.
Я был бы зверем,
отказавшись его подвезти.

Бородатый, похож на Санту,
улыбается и смешит.
Едет к внучке (зовут Самантой),
говорит,
говорит,
говорит.

Я молчу, как всегда – угрюмо.
Мимо уха его слова.
Усмехается: «знаешь, юноша,
мы с тобой знакомы едва,
но я все же открою тайну —
я волшебник.
Нет, я не пьян.
Ты смурной, нелюдимый, печальный.
Чудеса избегают тебя.»

Тянет руку, плеча касаясь,
мне показывает бутылёк.
В нем прозрачная жидкость сверкает,
серебрится, как хрупкий лёд.

«Мой подарок тебе, приятель,
потерявшему веру в любовь.
Выпьешь – и обретешь свое счастье.
Настоящее волшебство.»

Он сошел через триста метров,
напоследок кивнув слегка.
Улыбнулся легко, приветливо:
«С Новым годом, сынок!
Пока.»

*

Тридцать первое. День завьюжило.
Вот ее город, улица, дом.
Дверь парадная, непослушная,
замяукала диким котом.

Убежать.

Два пролета лестничных.
Я сжимаю в руке бутылёк.
«Дай мне смелость любить эту женщину.»

|волшебство|

Делаю
гло
ток.

*

Мы сцепились, как дикие звери,
в спину ржавый врезается гвоздь.
Ее пальцы скользят по шее,

ее руки – стилетом,
сквозь.

Эта смелость бежит по венам,
и не страшен
ни черт
ни Бог.
Ударяюсь затылком об стену.

Настоящее
вол
шеб
ство.

*

Год прошел. Принимай как данность.
Если спросите – счастье есть.
Рядом та, с кем я встречу старость.
Рядом те, с кем я тоже «есть».

Супермаркет, стоим у кассы,
сзади, трогает за плечо,
улыбаясь хитро и ласковой,
мой знакомец – колдун-старичок.

«Здравствуй! Рад видеть давнего друга.
Значит, все же нашел чудеса?»

Посмеялись, пожали руки,
Касса, очередь подошла.

Напоследок решил оглянуться:
«что же было в бутылке тогда?»
А старик, как всегда, ухмыльнулся:

это просто была
вода.

Когда ты устанешь меня держать...

Когда ты устанешь меня держать и в мутный пруд зашвырнешь блесну, колосьев спелых погибнет рать, остынет солнце. И я уйду.

Шестое, май, говорит Весна. С рассудка счистив коросту ржи, на землю бросив ненужный хлам, себя отправлю в другую жизнь. Надев рюкзак, завязав шнурки, взяв сигареты и пару книг, и не коснувшись твоей руки, корабль направлю на материк. И дикий пес побежит за мной, и черт, играющий на трубе. Дорогой долгой, тропой кривой, я двинусь в путь от тебя к себе. Шагая под проливным дождем, из звезд слагая свой гороскоп, тьму препарируя фонарем, сбивая головы колосков, я буду петь о своей любви, упрямо верящей в чудеса. Ботинком пыльным чеканя ритм, шагая слепо, закрыв глаза.

Когда я стану тебе чужим, и до оскомины на зубах, сожги меня, как сжигали Рим, и над колодцем развей мой прах. А сердце ты закопай в лесу, где над могилой сова кричит. И я уйду, навсегда уйду. Так не ищи меня, не ищи.

Но в кабаке, допивая джин,
в объятьях девушки в юбке-клёш,
глотаю джаз и табачный дым,
я буду верить,
что ты
найдешь.

Семнадцать

Снова понедельник и семь утра, мать отца привычно зовет: «кретин». Заводной будильник кричит: «пора!». А тебе семнадцать. И ты один. Твои латы – кеды и пуховик, и в наушниках громкий олдскульный рок. Вот сейчас шагаешь под Патти Смит, а под Элис Купер – ты просто Бог. Ну, вперед, к урокам и мудакам, и к курящим девушкам у ворот. Не позволив вздрогнуть своим рукам, папиросу тянешь в замерзший рот. Есть утечка формул из головы, и костяшки сбиты об чей-то зуб. Здесь полно зеркал, только всё – кривых. Если отвернешься, то сразу – труп. Здесь придуман бог и придуман черт, НЛО боится сюда лететь. Гражданин Земли на две трети мертв, потому с улыбкой встречает смерть. Здесь казнят за кожу и за язык, здесь из церкви выйдя, опять грешат. Ничего, что ты еще не привык, это только ангелам страшен Ад. Потому тебя загоняют в строй, промывают мозг и дают пиджак. Раз – и ты приглаженный, но кривой, и в болоте тонет твоя душа. Лучше будь вихрастым, упрямым, злым, обжигайся, скалься и доверяй. Не сдавайся правильным, но пустым, пусть тебя ругают и костерят. Не вливайся в их обезьяний строй, даже в волчьей стае ты будь добрей. И вступая в битву с самим собой, осторожней, сам себя не убей. Знаешь, Личность – то, что ты создал сам, это сколько ты одолел дорог, скольким ты лицо подставлял ветрам, это каждый маленький твой шагок. Не меняй себя, применяя грим, чтобы стать приятней людской толпе. Нет, не счастлив тот, кто стал мил другим, счастлив тот, кто нравится сам себе.

И пускай сейчас не прорвать плотин, мир вокруг опасен и однобок.

Пусть тебе семнадцать и ты один.

Но тебе семнадцать, и ты есть Бог.

«Последнему снегу...»

Последнему снегу
и той, с кем я не был,
посвящаю
эти
строки.

Бог помогает убогим.
Значит, поможет и мне,
потерявшемуся во тьме,
сквозь дебри ее измен,
прорубить дорогу к весне.

День первый.
Бог создал землю.
Из земли появился я,
безответно ее любя.

А она
цвела,
брала
меня за руку,
вела сквозь
исполинские радуги арок,
к осенним пожарам,
где небо горело алым,
где сердце дрожало
и немел мозжечок,
и руки еще.

Равняю
счет:
отрицаю ее.

День второй.
Солнце взошло над горой.
Лес за моей спиной
поднялся,
вырос большой.

Я омываю водой
кожу, покрытую ржой.

Вычитаю боль:
расстаюсь с душой.

День третий.
По дому гуляет ветер,
мир вокруг чист и светел.
Где-то, на третьей планете
от Солнца,
сидит Бог.
Вертит в шершавых ладонях
своих,
больную
мою
любовь.

День четвертый.
Я воскрешаю мертвых,
живущих под корой
моего
головного
мозга.

Уходите прочь
убирайтесь,
пока не поздно.

День пятый.
Постель смята,
смяты листки блокнота,
мартовская суббота
готовит мне чай с чабрецом.

Смирись с неизбежным концом,
с покинувшей тебя частью.
Приказываю себе:
в одиночестве
будь
счастлив.

День шестой.
Смазанный и пустой.

Туман, сизый и густой,
проплывает над городом.
Холодно
и сыро.
Ем бутерброды с сыром,
покидаю квартиру,
улыбаюсь миру.

Всем, кого она любила,
Господи,
дай им силы.

День седьмой.
Под моей головой
промокла подушка.
В комнате жарко
и
душно.

За окном температура
поднимается неумолимо,
прогоняя зиму.

Я поднимаюсь Римом,
пережившим гибель
империй.
И открываю двери.

Здравствуй, весна,
ты ведь тоже по мне скучала?
Прощаю тебе дни
и ночи без сна.

Давай все начнем сначала.

«Нет ни правильных, ни простых, ни таких, что в пору...»

Нет ни правильных, ни простых, ни таких, что в пору.
Ни во что не верящие юнцы, прогуляли школу
и вихры покрасили в яркий цвет – киноварь и мяту.
Сигареты смятые не успев под матрасом спрятать.

Никакого дела до новостей, наплевать на войны,
улыбаться криво, пугать гостей и сбегать достойно.
Трек Нирваны в уши – сердитый крик взрослых заглушая,
уходить из дома, ведь мир велик, ведь Земля большая.
Позвонки щекочет сырой туман, ночь лежит у пирса,
на дворе холодный и снежный март, а мы в рваных джинсах.
Кожанка не греет, у мокрых кед скользкая подошва.
Согреваться, с живостью юных лет думая о пошлом.

Если честно, пиво на вкус – отстой, лучше газировка.
Только если выбрал такую роль, стыдно быть неловким.
Нужно улыбаться, глотая чад, громко сквернословить.
В стае правда легче, здесь ты камрад, ты не часть отстоя.
Забывая фразы, читать стихи девочкам на вписке,
набивать ачивки – свои грехи, взяв отцовский виски.
Это всё протест против скукоты, против бытовухи,
где швыряют в топку мои мечты и жужжат, как мухи,
адское прибежище книг и парт называя раем.
Оттого особенный есть азарт – доходить до края.

Эй, смотрите, взрослые, как я плох, до чего порочен.
Вам с ребёнком крупно не повезло, налажал сыночек.
Может, оторвётесь от мыльных драм, от своих кредиток?
Между нами будто бы океан вымерз Ледовитый.
С вашего Олимпа взгляните вниз, на смешных подростков.
Стрелы от родительской нелюбви ранят очень остро.

Не ищите правильных и простых, и таких, что в пору.
Ни во что не верящие юнцы – ментос с кока-колой.
Тронешь – и взорвёмся, сорвав резьбу, убежим на волю,
это пубертатный извечный бунт, не пытайтесь спорить.
Нам ещё непросто держать лицо и держать удары,
если неприятности жмут в кольцо, щерятся оскалом.
Юность бестолкова, как мыльный шар, горяча, как лето.
Просто не травите нас, дайте шанс выдержать всё это.

«Трещит под ботинками акведук...»

Трещит под ботинками акведук,
сметённый взрывной волной.
Тот путь, по которому я иду,
взаправду ли выбран мной?

Пустыми глазницами мне вослед
глядит караван-сарай,
и город, которого больше нет,
спешит по дороге в Рай.

О, как тяжело по земле брести
без права летать и петь!
Когда между рёбрами слог и стих,
безмолвие значит – смерть.

Так пой за меня, суховей-чудак,
смешно разметаю вихры.
Пусть пляшет под небом кровавый мак,
увядший в силках жары.

Щекочет ладони сухой ковыль,
ползёт по земле рассвет.
И сколько путей впереди кривых?
И сколько безмолвных лет?

Тяжелым, тревожным лежит в груди
предчувствие новых дней.
Всеведущий смысл, меня найди
в колосьях ржаных полей.

Я мальчик, оставленный на ветру,
не помнящий отчий дом.
И вера моя – полусгнивший труп,
закопанный под крестом.

Та мойра, что нитку мою прядёт,
та мойра, что режет нить,
ответьте: я должен идти вперёд?
Действительно должен жить?

И есть ли резон продолжать борьбу,
бесстрашие взяв взаимы?
Смогу ли я вырвать свою судьбу
из рук беспроглядной тьмы?

«Выпито лето одним глотком...»

Выпито лето одним глотком.
Август. Последний день.
Руки, испачканные песком,
к рыжим лучам воздень.

Солнце исследует языком
контур твоих ключиц.
Я наблюдаю за ним тайком,
не преступив границ.

Воздух вибрирует от жары,
слышится тихий вздох:
не нарушая баланс игры
летний уходит бог.

Зеркало-зеркало, гладь реки,
дай мне найти ответ:
будем ли вместе, когда с щеки
сгинет загара цвет?

Солнце курсирует по плечам,
прячется в волосах.
Дай мне коснуться тебя сейчас,
нежностью выжечь страх.

Яблоко катится по траве,
сказочный мой клубок.
За облаками крадётся зверь,
хмурый осенний бог.

Зеркало-зеркало, чистый пруд,
дай мне найти ответ:
будем ли вместе, когда умрут
запахи сигарет,

шорохи трав в беспокойной тьме,
синие васильки.

[будет ли время, когда ты мне
вдруг не подашь руки?]

Летнего морока жгучий пыл
с кожи стряхнёт Борей.
Сказка любви обратится в быль
в мутном потоке дней.

Яблоко-яблоко, красный шар,
катится по траве.
Выпадет нам хоть единый шанс
встретиться в сентябре?

Мы поём в переходах...

Мы поём в переходах, нам двадцать, мы дразним смерть. Называем любовью похоть, чадим травой. Мы беснуемся так, что трясётся земная твердь. Мы не дружим ни с кем, а особенно с головой. От похмелья в затылке отбойные молотки, на измятой постели – следы безымянных тел. Мы до звона пустые, но думаем, что легки. Мы команда подонков и лузеров, шлюх и стерв.

Поделись сигаретой, достань из распухших губ. Ты такая смешная в позёрской своей тоске. Всё вокруг бесполезно и глупо, но все бегут к своей смерти упрямо, как в притче о мотыльке. И дерьмо ведь случается – люди такая дрянь, их надежда горит, даже если сломалась ТЭЦ. Проводи меня к чёрту, и голой постой в дверях. Мы счастливые твари, живущие без сердец.

Проторённой дорожкой от койки в дешёвый паб, я иду, притворяясь осмысленно-деловым. Бестолковая молодость, праздная, как наваб, волочитя за мной по напудренным мостовым.

II

Я пою над могилой. Мне сорок. Я видел смерть. Все мои друзья превратились в табачный дым. Танки так тяжелы, что трясётся земная твердь, где-то там на востоке, а нам же – болеть иным. Нам болеть от того, что родителей ждут гробы, что от боли не спирт спасает, а трамадол. От того, что любовь превратилась в рутинный быт, в отупляющий путь от рабочего кресла в молл.

Не гореть нам в Аду, не тонуть нам в реке Коцит, все дороги ведут в беспросветное Никуда. Проводи меня к чёрту, но всё-таки сделай вид, что осталась ещё хоть искра под грудой льда. Что осталась ещё возможность найти слова, отложив на секунду грядущий уже конец. Нам доступен лишь сон и тяжёлая голова. Мы несчастные твари, прожившие без сердец.

Всё, что было привычным: от дедовых сигарет до сухих васильков, замурованных в словаре, стало ценным настолько, что сил удержаться нет,
на потёртом паркете,
на битуме,
на Земле.

Всё, чего я хотел бы – вернуться на тридцать лет,

отряхнуться от пепла, очиститься от дерьма,
и с ребяческим пылом тому себе дать обет,
что меня никогда,
ни за что
не поглотит тьма.

Как легко теперь...

Как легко теперь: не любя тебя, я не прячу голову от дождя, я курю взятяг и глотаю дым, став опять беспечным и молодым. Не фильтрую речь, исторгаю брань, обжигаю крепким словцом гортань, не боясь твоих потемневших глаз и покрытых пыльной моралью фраз. Открываю настежь окно и дверь, трачу на пустое, сажусь на мель. Просыпаюсь поздно и всё не там, провожаю женщин без лишних драм.

Я смеюсь и праздную, бью в набат, я живым вернулся, пройдя сквозь Ад. Я вернулся целым почти на треть, надо быть железным, чтоб так суметь.

Так легко теперь, когда я один, сам себе советчик и господин: я могу сойти до любых низин, я могу валяться в любой грязи. Но могу стать праведным и святым, и отринув водку, разврат и дым, вдруг решить подняться на Эверест, а потом объехать полсотни мест. Я увижу Дрезден и Амстердам, а потом отправлюсь в тибетский храм. Где Нью-Йорк, там Гамбург, затем – Шанхай, я из пепла выстрою новый Рай. Рай свободных комнат и тишины. Дезертир, сбежавший с твоей войны будет благодарен за каждый вдох. Мол, спасибо, Господи, что не сдох. И за то спасибо, что стал сильнее, что сумел прорваться сквозь вязкость дней, и всю суть свою возродить с нуля, из простейших слов: «не люблю тебя».

Это радость, счастье, небесный дар: быть свободным, сильным, держать удар. Управлять рассудком, рулить судьбой. Будь свободна тоже,

и Бог с тобой.

Скука смертная

Скука смертная.

День измучен, в небесах маршируют тучи, их прилипчивый взгляд колющий прибивает меня к земле. Поплотнее укутав шею и прикинувшись мирным зверем, путешествую по аллеям, запечатанным в янтаре.

Под ботинками плачут листья о гибели вечных истин, ветер рвёт перепонки свистом, на меня нагоняет сплин. Вся планета гудит от взрывов, от общественных нервных срывов, и антихрист идёт бескрылый по осколкам тяжёлых мин.

Молодёжь начищает пики, на знамёнах рисует лики, каждый хочет прослыть великим, но не в курсе, зачем живёт. У правителей едет крыша, в поднебесье и даже выше, шкуру тигра надели мыши и страшат клыком народ. Каждый ищет дорогу к дому, от себя одного – к другому, через марево вечной комы пробирается пилигрим. Возвращаясь больным с работы, он снимает пальто и боты, обливается липким потом и привычно смывает грим. Только суть его так фальшива, что её не отмоешь мылом, и не зеркало в ванной криво, а его обладатель крив. Надевая нательный крестик, он мечтает о лучшем месте в райских зарослях, а не в бездне, но заветы спускает в слив.

Потому что так выжить легче, ведь грехи всем отпустят прежде, чем останки снесут к подъезду, и засунут в дубовый гроб. Лживый шёпот ласкает уши, пальцы дьявола лезут в душу, запах адовой серы душит, и горячечно пышет лоб. Искушение чёрным змеем пробирается по постели, и находит обитель в теле, предназначенном для греха.

Мир приветствует Люцифера, этот парень приятно серый, под руками его умело осыпается шелуха. Можно, впрочем, освободиться: Джаганнатхова колесница наматывает кишки на спицы, и вернёт в первозданный вид.

Но оглянешься на планету, и терять не захочешь это, где душистое будет лето и падение Персеид. Так что снова обратно в город, где царит нищета и холод, где костями грохочет голод, и за горло хватает страх. Мы – безвольные хлопья пепла, мы – покорные дети ветра, и змеистые километры превращают надежды в прах. Поплотнее укутав шею, путешествуя по аллеям, я мечтаю о новой вере, что размочит тоскливый ил.

Скука смертная, я бессмертен, но ковчег утащили с верфи, а в соборах танцуют черти под мелодию devil's trill.

Беда

Только ты и любишь меня, беда. Принимая в пальцы мою ладонь, ты ведешь туда, где цветет сандал, где закат разводит большой огонь. Ты крива, уродлива и страшна, и всё время бьешь меня по хребту. «Ни к чему тебе, – говоришь, – весна, ни к чему в бессонном лежать бреду. Лучше ляг со мной и спокойно спи. Хочешь, убаюкаю, как дитя? Дам тебе и горечи, и тоски, да твою грудину сожму в когтях». И своим беззубым смеешься ртом, и губами тонкими льнешь к щеке, и со мной заходишь в остывший дом, и овсянку варишь на молоке. Насыпаешь кошке в тарелку корм, по-хозяйски черный готовишь чай. И ничьим вторжением, ни звонком, не разрушится тишины печать.

Ты висишь, как девушка, на руке, так вцепившись крепко в мое пальто, мы идем по сумеречной Москве, нам купить спиртное, потом в метро. Говорят, что я стал и сер, и худ, говорят, костляв, что почти скелет. «Покажись врачу, берегись простуд, доживешь тогда до преклонных лет». У меня в любовницах ходит Смерть, а моя возлюбленная – Беда, я успел и выцвести, и сгореть, от веселья не отыскать следа. Что ни день – так жизнь меня бьет под дых, всё в руках ломается и трещит, оттого и голос мой слаб и тих, оттого такой изможденный вид. У кого-то – черная полоса, я живу в чернильнице десять лет. И Хранитель мой не спешит спасать, не отыщешь взглядом во тьме просвет. И не плох я вроде бы, и не зол, только отчего-то мой путь тернист. Я ложусь затылком на голый пол, и дрожу от страха, как тонкий лист.

Ну согрей меня, обними, беда, мы с тобой сиамские близнецы. Ты со мной бессменно, ты здесь всегда, ты со мной в кино, на работу, в цирк. Я совсем, смотри, приручённым стал, не ищу тепла человеческих тел.

Только ты и любишь меня, беда.

Только ты и делишь со мной постель.

«Он раздевает ее с какой-то глухой тоской...»

Он раздевает ее с какой-то глухой тоской,
будто бы жажда его – это его проклятие.
Будто бы преступление – видеть ее нагой,
Богом судимо большое желание взять ее.

А она говорит: «мне холодно, холодно, холодно!
Что ж ты трясешься, как будто меня боясь?»
И запрокидывает свою медно-рыжую голову,
страшно и зло, почти сатанински смеясь.

Ему кажется, будто он погружается в лаву,
будто плавятся кости, мускулы и хрящи.
И церковное золото, коим он был оправлен,
под руками ее ломается и трещит.

Ночь черней его рясы ложится на спящий город,
месяц желтым паяцем танцует на гребнях крыш.
И он чувствует страшный, желудок сжигающий голод,
и хохочет над ним умудренный годами Париж.

Как она хороша, и в миру, и в измятой постели,
(но он видел младенца в горящем на углях котле).
Он целует лицо ее с пылкостью дикого зверя,
(только в ночь всех святых она мимо неслась на метле).

Её красные губы, греховно блестящие губы,
как послание дьявола, дар самого Сатаны.
И он прежде не знал, что способен на злобную грубость,
и он прежде еще не срывался с Господней блесны.

Забывая псалмы, и молитвы меняя на вздохи,
прижимается ближе, теряя последний контроль.
Рассыпая рассудка ослепшего малые крохи,
превращая негромкие стоны в отчаянный вой,

он становится жалким рабом ее черт без изъянов,
ее запаха слаще граната и крепче французских вин.
Он еще не был прежде влюбленным,
и не был пьяным.
(Да вот только отныне не будет никем любим).

Он проснется наутро больным, обессиленным, нищим.
И не видя ни неба, ни света карминной зари,
превратится лишь в хворост, секундную искру в кострище,
в обжигающе-жарком
кострище ее нелюбви.

Я виноват во всём

Я виноват во всём, я виноват заочно, в каждой войне и бойне, в каждой чужой беде. В том, что палящий день зябкой сменился ночью, в том, что колючий свитер, в том, что просрочен хлеб. Это из-за меня слякоть и непогода, пробки в час пик, простуда – всё по моей вине, падают самолеты с синего небосвода, сходят составы с рельсов, люди горят в огне.

Я виноват во всём, так повелось с рожденья, призраком, тварью, тенью, я приносил беду; мать покидала дом, хлопнув с досадой дверью, брат расшибал колени, мрак оживал в углу. В каждой пропавшей книжке, в каждом пятне на платье, в треснувшей каждой чашке был виноват лишь я. Я умерщвлял цветы, даже не смея рвать их, словно бы источая кожей самой яд.

Я виноват во всём: в том, что тебе не спится, в том, что твой чай с корицей в чашке давно остыл. Это из-за меня у златокудрых принцев сломаны колесницы и сожжены мосты. Это моя вина – что ты сломала ноготь, и порвала колготки, и провалила тест. Брось меня и ступай, в церковь, молиться Богу. Не приближайся, если не надеваешь крест. Я навредил тебе и заразил несчастьем, я превратил в кошмары светлые прежде сны.

Сгинь, погаси свечу, (свет для меня опасен),
дай же мне захлебнуться в чувстве своей вины.

«Подмигнув фонариком хрупкой тьме...»

Подмигнув фонариком хрупкой тьме,
он не думал, что всё обернётся так;
но родился свет, обнажая след
на чужих руках, на чужих губах.
На родных губах, на родных руках:
хиромантом стал, изучил ладонь,
по холмам Венеры и островкам
пальцами шагал поперёк и вдоль.
По дорожкам вен доходил к плечу,
кожу мял и жёг, увлекал в кровать.
Нужно было к Северу – шёл на Юг,
чтобы сливы спелые ей сорвать.

Вот она – алтарь, вот она – божок,
у окна стоит в неглиже одном.
Создаёт туман – сигаретный смог,
пепел пляшет хлопьями над ковром.
По неровным стенам, косым углам,
скачет мячик-эхо, стучит по лбу.
На экране пляшет индийский Рам,
а соседи сверху свой ужин жгут.
Но фонарь упрямо кромсает ночь,
(на её ладонях другой, чужой).
Наливает скотч, отрывает скотч,
да смеётся весело над собой.

Съел его глаза – не прозрел ничуть,
съел его язык – не сумел сказать,
не сумел исполнить её причуд,
губы съел – не смог так же целовать.
Как теперь тошнит, как теперь мутит,
кость застряла в брюхе и рвёт кишку.
Только сердце недруга сохранил,
повинуясь мыслям в больном мозгу:

потушил рагу, размолот тимьян,
пальцами вложил в приоткрытый рот.
Говорит – глотай, говорит – ты дрянь,
да запястья крепко в капкан берёт.

Сберегал от слёз – нынче вся в слезах,
он палач и бес, от объятий – хруст.
Из зрачков глядит первобытный страх,
нет на дне любви, невод тянет – пуст.
Поцелуй болезненный и больной,
до открытых ран, до саднящих губ.
Мёртвой тенью рядом стоит другой,
жмётся голым черепом к потолку.

Он решает всё завершить игрой,
медяком звенит, перебрав гроши.
Но монета, прыгнув, встаёт ребром.
Как теперь решить: умереть ей, жить?
Змей кусает хвост, образуя круг,
погасив фонарь, он бредёт впотьмах.
Ничего внутри, ничего вокруг,
только соль и ржа на его губах.

Не рассказывай мёртвому о живом...

Не рассказывай мёртвому о живом: о ромашках, выросших на лугу, об огромной рыбе в потоке волн, о следах, оставленных на снегу. Не шепчи о том, что взошла заря, окунув в янтарь полотно полей, как в ночи глухой светлячки горят, а в лесу тихонько журчит ручей. Не рисуй словами морской простор, где салаку выловил альбатрос, те места, где острые шпили гор в поднебесный врезались купорос. При себе оставь и жару, и стынь, и дыханье ветра в густой траве, потому что мёртвый давно остыл ко всему живущему на земле.

И о том не надо, как гаснет свет за закрытой дверью в полночный час, как тела сливаются всё тесней, погружаясь в сладостный жар и чад. Это есть табу, о любви – молчок, дай себе зарок не болтать о ней. Кровь по венам мёртвого не течёт, не тревожь того, что лежит в земле.

Сохрани в себе и тепло, и лёд, поцелуй, объятие, пыл и дрожь. Пока солнце делает оборот, уходи с погоста, костей не трожь. Отпусти к червям, в чернозём и дёрн, не шепчи о том, что теперь нельзя. Пусть слова любви порастут быльём, говори с другими, храни заряд. Не рыдай, упрямо давься комком, рукавом толстовки глаза утри.

Не рассказывай мёртвому о живом,
ни о чём мне больше не говори.

«Рожденному ползать – летать не к месту...»

Рожденному ползать – летать не к месту,
ползи, червячок, ползи.
Глотай земляное прогорклое тесто,
валяйся в сырой грязи.
Никто не подаст мне руки и надежды,
я неприкасаем, нечист.
Ничто не вернется, не станет, как прежде,
лишь только сойдешь с пути.

Я верю в богов кабаков и притонов,
я верю в святейших шлюх.
Ласкаю Судьбу, греховно и томно,
и Смерти в лицо плюю.
Смешной и зазнавшийся оборванец,
бродячий дворовый кот,
я прячу ножи в нагрудном кармане,
бесцельно иду вперед.

Усталая женщина в черном берете
зовет меня выпить джин.
И я, ни секунды не медля с ответом,
шагаю в пучину лжи.
Она улыбается радостно-рвано,
и тянет меня на дно.
К поблекшим обоям и старым диванам,
смотрящим цветное кино.

И я, обреченный влюбляться в падших,
целую ее бедро.
Учите меня, те, кто лучше и старше,
да гвозди вбивайте в гроб.

Похмелье – мучительно, счастье – зыбко,
запомни, мой глупый мозг.

Наутро, украв ее злую улыбку,
сказав неумелый тост,
я нежно сжимаю ее ладони,
целую ее в висок,
пока она хрипло и сладостно стонет,
ударом сбиваю с ног.

Кабацкие боги, простите, я грешен,
омойте меня вином.
Кровавые пятна на рваной одежде,
улики. Да все равно.

Эй, вызови копов, угрюмый бармен.

Сотрите меня с земли.

Я жизнью отравлен, я смертью отравлен,
и некуда мне идти.

И вот, я внизу и доньшко близко,
а небо – так далеко,
что не дотянуться, не ухватиться,
сейчас
и вовеки веков.

И кем же мне стать, чтобы стать человеком?
В какую мне шкуру влезть?
Я был порожден дождями и снегом,
меня отрицает крест.

Рожденному ползать — летать не к месту,
ползи, червячок, ползи.
Но крылья болят, и крыльям так тесно
под ребрами узкой груди.

И где бы я ни был, и там, где я не был,
повсюду за мной печаль.
Огромное небо, холодное небо,
баюкай меня,
качай.

«Моя любовь умеет убивать...»

Моя любовь умеет убивать.
Прости, что не сказал об этом раньше.
Когда вжимал в скрипучую кровать
и целовал покусанные пальцы.

Моя любовь тягучая, как мёд,
и сладкая, и горькая, и злая.
Она тебя когда-нибудь убьёт,
уже сейчас немного убивая.

И как теперь смотреть в твои глаза,
покрытые янтарной рыжей крошкой?
Весь город спит и стихли голоса,
и ночь легла на крыши черной кошкой.

А ты идешь, твой нос укутан в шарф,
и каблуки сбивают лёд с асфальта.
И я срываюсь вслед, ускорив шаг,
осатаневшей и голодной тварью.

Я одержим, и болен, и простыл,
в изгибе твоей шеи грею губы.
И те слова, что в общем-то, просты,
цепляются за стиснутые зубы.

Так съешь меня, и выпей, и сожги,
и расскажи об этом своим детям.
Что в прошлом был один такой debil,
и он любил, и он же был в ответе

за зацелованную кожу век
и красные следы на голой шее,
Что это был ужасный человек,
похожий на затравленного зверя.

Так улыбайся, ласково, как черт.
Рука моя – твоя, и там же сердце.
Танцует на замёрзшей глади вод
Луна, как на тарелке рыжий персик.

Взлетают в небо дети птичьих стай.
Я был когда-то так же беззаботен.
Моя любовь умеет убивать.
Твоя – сжигать.

А значит, мы в расчете.

«Вот самый длинный в мире метромост...»

Вот самый длинный в мире метромост
парит над животом замерзшей речки.
И снег – не снег,
а дождь из белых звезд.
И не луна,
а круглый глаз овечки.

И я иду с дурацким букварем
в одной руке, и с сигаретой в левой.
И голубь сменит за воробьем,
в смертельной битве за краюшку хлеба.

Подумайте: ищу ее лицо
среди
десятков,
сотен,
тысяч
окон.
Вдруг? – обжимается с каким-то подлецом,
и истекает первобытным соком.

К чертям ее и всю ее родню,
по женскому греховному колену.
Я не люблю ее. Я не люблю.
Вскрываю банку колы, но не вены.

Мечтатели, что пишут о любви,
ночами погружаясь в песью похоть,
меняющие женщин, как календари,
и в общем-то, живущие неплохо,
послушайте меня: слова – ничто.
Слова – всего лишь рвота вашей глотки.

Любовь – не пицца и не шведский стол,
Она единственна, безмолвна, безотчетна.

И я, своим замерзшим мозжечком,
устан воссоздавать ее наружность,
ловлю снежинки шапкой, как сачком,
под фейерверк, стреляющий из ружей.

И я иду, ногой лишая лёд
невинности, горланя песни «Сплина».
И умерший однажды – не живет.
Но не умрет живой наполовину.

Вот самый длинный в мире метромост
парит над животом замерзшей речки.
И снег – не снег,
а дождь из белых звезд.
И не луна,
а круглый глаз овечки.

Я задержу ее ладонь в своей,
замерзший, замороженный, избитый.
И все, кто были рядом с ней и в ней,
оставлены, просрочены, забыты.

Я выпью этот яд, что Евой дан мне.
И в дом войдет архангел Гавриил.
И на моем надгробном плоском камне,
напишут лаконично:
«полюбил».

«С сентября по апрель Чхве Су Ро превращается в труса...»

С сентября по апрель Чхве Су Ро превращается в труса.
Он становится зайцем, мечтающим о норе.
Чтобы было куда забраться, залезть, уткнуться,
превратиться в бескостное сахарное желе.

Он сгибается пополам в остром приступе кашля,
приступ паники тоже близко – дышит в лицо.
Чхве не может понять, почему ему дьявольски страшно;
будто призраки окружили его кольцом.

Закурить бы ему, только в пальцах дрожит зажигалка,
Прометей забирает огонь из трясущихся рук.
«Это просто декабрь, не будь таким слабым и жалким»
говорит сам себе, нарезая по городу круг.

Руки тянутся к плееру, ищут знакомую песню,
и в наушниках хрипло поет чернокожий Рэй.
И на три с половиной минуты становится легче,
будто бы затихает, прислушавшись к музыке, зверь.

Пусть Америка слишком похожа на яркую куклу,
(он по горло сыт ей и Рождественской суетой),
но исследует улицы с тщанием Джеймса Кука,
до трясущихся пальцев боясь возвращаться домой.

х

...он зовет его хёном, смеется совсем по-гиенни,

и ногтями отросшими шумно царапает пол.
Чхве хотел бы сбежать, только скованный ленью,
словно в детстве, находит защиту под завесью штор.

Этот Призрак Зимы так похож на погибшего брата,
на котенка, замерзшего в парке, на мертвую мать.
Он похож на могилу, на стены больничной палаты,
на измазанный кровью и плотью горячий асфальт.

Он ложится в постель его, гладит ладонями щеки,
и губами холодными мягко целует в висок.
Выпивая всю жизнь, все тепло из прокуренных легких,
и касаясь когтистыми пальцами согнутых ног.

Этот Призрак Зимы пахнет ладаном, хлоркой и смертью,
он зовет его хёном, на языке брошенных мест.
Это просто декабрь псалмы распевает в церкви,
чужеземные ангелы падают с темных небес.

Всё, что есть – неизменно: и мир на спине черепахи,
и спастись из воды утопающий должен сам.
Чхве сжимает в руке ткань промокшей от пота рубахи,
и впервые с рождения шепчет мольбу Небесам.

И казалось бы – шанс есть у каждого, нужно встряхнуться,
пробудиться, поверить в себя, словно в волшебство.
Но Су Ро с сентября по апрель превращается в труса.
И закутавшись в сон, он не делает ни-че-го.

Не любить тебя сложно, но я учусь

Не любить тебя сложно, но я учусь. Не кричу, не буйствую, не скорблю. День идет за днём, вот еще чуть-чуть, и тебя я полностью разлюблю. Я кривой и пьяный, но я живой, трогаю гитары нагретый гриф и своей взлохмаченной головой осторожно дёргаю – вдруг слетит. Не «люблю», а матерное словцо, раз, и понимаешь – тебе конец. За грехи библейских каких отцов, ты опять приходишь ко мне во сне? Микроскоп достану, шагну вперед, ведь в тебе изъязнов – не сосчитать. (Но какого черта твой жаркий рот мне так сильно хочется целовать?). Нет-нет-нет, не сдамся, я лёд, я сталь. Я звезда в созвездии Орион. Там тебе меня точно не достать, как Луне не тронуть древесных крон. Под ногами небо, над головой – колосится рожь и поют сверчки. Я кривой и пьяный, но я живой, и шаги по звёздам мои легки.

Я спою с котами полночный блюз, наколдую дым и пойду к реке. А наутро я тебя разлюблю, только имя прутиком на песке, только желтый камешек из серьги, поцелуи в щеку и звездный дождь – я себе оставлю, еще шаги, и твои ладони – оставь, не трожь.

Я включу паяца, начну шутить, ведь по мне не скажешь, что я тебя... Рану нужно выжечь и посолить, пусть болит сильнее, тем сильнее я. Вверх, по небосводу, покуда ночь, и пока погода еще тепла. Пусть мурашками пробегает дрожь, а под курткой будто горит напалм.

Я, как чёрт, заливисто хохочу, и играю с ангелами в слова.

Не любить тебя сложно, но я учусь.

Пусть пока по предмету выходит «два».

«Будет новое утро, и будет всё as you wish...»

Будет новое утро, и будет всё as you wish:
будут улицы, переходы, дома, мосты.
Будет солнце нырять в ладони с нагретых крыш,
чьи-то губы на волю выпустят сизый дым.

Будет небо и море, следы на песке и шторм,
поцелуй на закате и вкус табака во рту,
и венок из ромашек, и приторно-горький ром.

...а потом ты возьмешь и влюбишься в темноту.

Темноте этой будет около двадцати:
джинсы рваные, и вихры, и витой браслет,
ты споткнешься как будто о камешек на пути,
об его до смешного насмешливое «привет».

И приличней бы хмыкнуть и просто податься прочь,
(с проходимцами разговаривать не к лицу),
но на доньшке глаз его будет плескаться ночь,
что подходит по цвету к гагатовому кольцу.

И холодными пальцами (резкий контраст с жарой),
он легко прикоснется к изгибам твоих ключиц,
и рубашка, пропахшая травами и резедой,
плавно скатится вниз. Лишившись своих границ,

утонув в восхитительно черных его зрачках,
зачарованной змейкой, что заморозил факир,
став послушной и мягкой глиной в его руках,
постепенно лишаясь смелости, воли, сил,

ты забудешь о том, что ночи короткий век,
что с рассветом она рассеется, словно дым.

...и однажды ты просто услышишь глухое «нет»,
и однажды волна размочит его следы.

В ожидании полночи, светлые дни кляня,
одеваясь лишь в черное, выключив в доме свет,
не желая ни моря, ни солнца, ни янтаря,
будешь в тени любой его находить силуэт.

Ах, прости, что так горько, что в шутках я так жесток,
что играю с сердцами, как клоун из шапито.
И для бога любви, я, наверное, очень плох,
но пока торопись – электричка не ждет в метро.

Хочешь, я расскажу тебе главный его секрет?
(пусть волнуется море, но ты, как скала, замри):
он хранит своё сердце в коробке из-под конфет
для больных диабетом,
с надписью: sugar free.

«Эй...»

Эй,
посмотри на меня,
сквозь темные воды моря.
Я вижу два тусклых огня,
это ты, мое вечное горе?

Мое тело – коралловый риф,
Мои руки опутаны тиной.
Если спросишь, забвение – миф.
Мой рассудок стал паутиной.
Он плетет свою новую сеть,
и в нее попадают рыбы.
Так что же такое смерть?
Моя смерть – многотонной глыбой
по ночам ложится на грудь,
в песок превращает ребра.

/спасите меня, кто-нибудь/

Ракушки царапают нёбо
и режут на части язык.
В моей голове – бьется море,
в нем сгнивший и сломанный бриг —
твоя любовь, мое горе.

Ты больше не слышишь меня?
А может – не хочешь слышать?
Я знаю, такое понять нельзя.
/мое сердце не дышит/

Но если, когда-нибудь,

Придешь к моему океану.
Пожалуйста, не забудь,
Что я прибрежным туманом,
соленой морской водой,
предвестником скорого шторма,
Я встану рядом с тобой,
губами касаясь горла.

Ты сложишь бумажный корабль,
из листьев вчерашней газеты,
ипустишь его по волнам.
Запомни, я там
где-то.

Эй,
посмотри на меня,
сквозь поезда грязные стекла.
Ты видишь два желтых огня —
далеких, невзрачных и блеклых?
В трех тысячах миль от луны,
где барашки из пенных кружев,
Куда не допущены сны,
расползается синяя лужа.
Там живьем поедает меня
глубокое, жадное море.

Эй,
в своих одиноких днях,
вспоминай обо мне,
мое горе.

«Почему я зол? Почему я груб?..»

Почему я зол? Почему я груб?
Почему об стену разбил кулак?
Ты кричишь, что я из породы сукиных
сынов, негодяй, дурак.
Я молчу, смотрю
на поблекший снег.
Значит, быть весне. Значит – быть тесней,
заниматься болью, сминать постель.

нет дороги в Рим. Все дороги – к ней

Я молчу. Мне, кажется, все равно.
Но задуй свечу. Затвори окно.
Подойди ко мне, и закрой глаза.
Я люблю тебя.
Больше мне
тебе
нечего сказать.

«Мне двадцать один...»

Мне двадцать один.
И я один.
Мой друг умер двадцать часов назад.
Я наполняю ванну, ныряю до самых глубин.
По водопроводу,
сквозь этажи,
в Ад.

Мне двадцать два. И «меня» — два.
Друг мой курит на крыше,
/снег цепляется за карниз/.
Я закрываю уши. Завязываю рукава
белой рубашки.
И делаю
шаг
вниз.

«Мы» летим над городом,
/люди, дороги, мосты/.
Стекла, открытые форточки,

я — это ты, ты — это я, ты...

Выстрели мне в голову, Господи,
как стреляют в больных лошадей
Снег идет легкой поступью,

я — это ты. ты — зверь

Мне двадцать три. И «меня» — три.

Друг мой на кухне
пьет медицинский спирт.
Как же болит
дурная моя голова,
пули Господни застряли внутри.
Третий – не лишний, он молчалив и тих.
Молится богу Кришне, второй – его материт.

Я достаю нож, острый, но ржавый, скверный.
То, что отрезано, назад не пришьешь.
Верно?

Мне двадцать девять. На моих ладонях лёд.
Рядом сидит мой друг. Он мёртв.
А завтра – и мой
черёд.

«Нас с тобой больше нет...»

Нас с тобой больше нет.

Свет
горит на втором этаже.
Крошится лёд.
Век
кончается.
Нас уже
не оживит
ток,
дефибрилляторы,
адреналин,
Бог.
Всё
не
впрок.
Всё
не то,
не тот,
не та.

«Пустота»
говорит врач.
Фиолетовых чернил
ставит штамп
на груди.
Бил – любил.
Не любил – бил,
Бог меня
изо всех сил.
Не просил
пощады,
отрады,
яда.

И места в Раю,
мне тоже
не надо.

Нас с тобой больше нет.

Бред
чистой воды.
Ты готовишь обед,
смываешь шампунь с головы.
Я слушаю рок-н-ролл
на автомагнитоле.
Дети в школе.
Без
пере
боев
бьется сердце.
Водка с перцем.
На столе Герцен —
потрепанная слишком
книжка.

[Мы идем по земле,
рука твоя в моей.
С неба льется елей,
запах трав с полей.
Нет никого родней.
Нет ничего сильнее.
Мертвому — не умереть.
Правда
ведь?]

Нас с тобой больше нет.
И города нет тоже.
И нет никаких планет,
вибрирующих
под

кожей.
Боже,
ответь мне,
блуждающему во тьме,
кто же мы с ней?
/кто же мы все?/
Кто же?

«Это очень простая история...»

Это очень простая история.
Солнце взошло над морем.
Солнце взошло над полем,
и
проросли
цветы.

Человек,
не ведавший горя,
однажды с Богом поспорил,
что обретет без боли
любовь.
И без пустоты.

Он вышел из теплого, сонного дома.
Сентябрь, накинув куртку,
смотрел ему вслед.
Tutte le strade portano a Roma – сказал,
и исчез в переулках.

Шесть лет он плутал по миру.
Шесть лет.
Не теряя веры.
/Судьба его не любила.
Он был у нее не первый/.

Разбив сапоги об камни,
в одежде грязной и нищей,
он шел,
и ловил руками
блуждающие огоньки.

Седьмой год
(число счастливое),
спускался с часовой башни.
/Судьба его не любила.
Ну что же,
не страшно/.

И не было никакой тайны,
такой уж была его роль.
Он встретил любовь случайно.
А с ней – отыскал и боль.

Раздробленный на части,
он шел по траве высокой.
«Любовь не бывает счастьем» —
с небес прошептал Бог.

Он нес пустоту в кармане,
и сердце в пустом кармане,
и порванную
нить.

Любовь – это то же пламя.
А как и любое пламя,
его можно
загасить.

Но он,
как горящий факел,
был весь.
И плавилась кожа.
И даже коснуться руками
было
не
воз

МОЖ
НО.

И он отправился к морю.
Под грохот и шум прибоя,
рассеяв прибрежный дым,
он в водах омыл свое горе,
и вышел на берег вскоре,
очищенным.
И пустым.

*

Это очень простая история.
Солнце взошло над морем.
Солнце взошло над полем,
и
проросли
цветы.

Это очень простая история.
Бессмысленная до боли.
Просто я был тем полем.
А солнцем – была
ты.

«Бесцельно, безжалостно...»

Бесцельно, безжалостно,
как в кино.
Ты мой Стокгольмский синдром.
Захлопни глаза и зашторь окно.
Спали этот чертов дом.

Держи меня в клетке,
корми с руки,
и хлестко бей по щекам.
Мы разной породы, а значит – враги.

/кто жертва – не знаю сам/.

Я был убит трижды.
Я был убит
за сына, за мать и отца.
В простейшем понятии чувства любви,
нет смысла,
нет дна и конца.

Есть жертвенность, ревность,
есть ложь и печаль.
Всё – в банке с наклейкой: «соль».
Бьешь больно и резко,
хрипишь: «отвечай,
как быть без тебя?
/с тобой?/»

И были бы мы сильнее
чуть-чуть,
тогда бы сумели спастись.

Под пальцами мерно вздымается грудь.
Проснись, мой киднеппер,
проснись.

Бесцельно, безжалостно,
как в кино.
Ты мой Стокгольмский синдром.
И кто-нибудь вызовет
всё равно,
полицию в этот дом.

Ты выстрелишь в голову,
/так легко, ужалит свинцовый шмель/.
Я вздрогну от [выстрела] холода,
но
я
сделаю шаг
за дверь.

Я выйду на снег,
больной и босой,
приму необъятный мир.
Здесь что-то неладно, не так, не то,
и что-то скрежещет в груди.

«Минутная слабость» – ответит коп,
– «у нас есть хороший врач.»

И Аве, Всевышний,
всё
могущий
Бог,
за дверью —
мой мертвый палач.

Но что-то неладно, не так, не то,
и рушится что-то в груди.
Мне хочется в клетку,
зашторить окно,
и есть с самой теплой руки.

Попытка провальна. С другого листа.
Есть жертва, преступник, дом.
Кусай мои губы, считая до ста.
Я твой Стокгольмский синдром.

Бог едет в маршрутке...

Бог едет в маршрутке, больной и угрюмый, потертая куртка и вязаный шарф. В нем сотни сомнений и пять лишних рюмок. На карте – еще десять дней ни гроша. В замерзшее небо врезаются кроны облезлых деревьев, на улицах грязь. В далекой стране цветут анемоны, хорошие люди и честная власть.

Бог шаг ускоряет, идя мимо церкви – опять побирушки, калеки, трэшак. Собака голодная, (бросил наверно, ее на помойке какой-то мудак). И что-то глаза раздражающе щиплет, а в глотке тяжелый и вязущий ком. «Ты мог бы помочь» – голос совести сипнет. «Дать бедным на хлеб, псу найти новый дом.» Но Бог продолжает шагать без оглядки: «у всех жизнь тяжелая, это злой рок. Им небо поможет, все будет в порядке. А что я могу? Ведь я вовсе не Бог.»

Бог хочет уехать в страну анемонов, он копит усердно и учит язык. Под домом его расцветают пионы, но Богу, конечно, нет дела до них. Газеты кричат о войне неизбежной, горит революции пламенный стяг. Сезоны привычно меняют одежду. Бог думает: «все что творится – пустяк.» Все больше бездомных, все меньше довольных. Все чаще от боли сжимает виски. Бог шепчет устало: «ну, хватит, довольно. Ведь мне все равно никого не спасти.»

Бог вовсе не сволочь, он жаждет покоя, как каждый, живущий в потоке веков. Он просто не знает, (и в этом-то горе), что каждый, рожденный на свете – есть Бог.

*

Бог вертит в руке самокрутку сырую, разбитые губы царапает дождь. Свистят за пригорком снаряды и пули. По телу – знакомая злобная дрожь. Страна анемонов и красных деревьев лежит под ногами, разбитая в прах. Здесь все одинаковы – немцы, евреи, нет разницы в расах, есть глупость в умах. Ползут по костям бестолковые танки, рычит пулемет: «тра-та-та, тра-та-та». Мир встал на дыбы, повернулся изнанкой, но как же его сердцевина пуста.

Бог курит и плачет, и сам не заметив, что вместо воды из глаз капает кровь. А душный июльский отравленный вечер, хоронит под небом погибших богов.

Паутину плетёт паук...

Паутину плетет паук, в сети ловит солнечный шар. Я не чей-то враг или друг. Я не тело и не душа. Я летящий по небу лист, я оторванный лепесток. Ветер летний игрив и чист, свет прекрасен и так жесток. Я ползу по земле змеей, я слепой бесхребетный червь. Я не чувствую страх и боль, я испил из ладоней смерть. Сквозь меня протекает Нил, в мой затылок вонзился луч. Я не верил и не любил. И поэтому я живуч. Не смотри на меня вот так, не давай в мои руки жизнь. У меня под одеждой прах, (я разденусь, ты отвернись). У меня под рубашкой пыль и кладбищенский серый смог. На спине чертежи кривых, заплетенных в пучок дорог. Мой живот порождает тьму и баюкает, как дитя. Всё, что я у тебя возьму станет мертвым в моих когтях. Если хочешь, ступай за дверь. Если хочешь, ложись в кровать. Я не стану к тебе добрей, я не стану тебя спасать. Я не чувствую ничего, я постиг тишину и дзэн. Я ходил по пескам миров, разрушал монолиты стен. Твоя нежность замерзнет в льдах, твои губы сотрутся в кровь. Не смотри на меня вот так. Не клади мне в ладонь любовь.

Я не тело и не душа. Я прозрачен и невесом. Пойман в сети горячий шар, небо спит под моим крылом. Я не мертвый и не живой. Я не верю и не люблю. Плачь, моя дорогая, вой.

А я рядышком постою.

«Никогда не бери попутчиков...»

Никогда не бери попутчиков.
Не разговаривай с незнакомцами.
Это правило. Только сучий
день сегодня.
Семь лет нет солнца.
На восьмой год оно появится,
за собой приведет Господа.
Под стопой его мир развалится,
затрещит мир вязанкой хвороста.
Не возьму с собой луну-доченьку,
да и сына оставлю, месяца.
Я возьму с собой нож заточенный,
зашагаю один, весело.
Пока мир слаб – война не кончится.
Брат на брата пойдет с ножиком.
Мать несчастная взвояет, скорчится:
«защити их обоих, Боженька.
Сбереги, Отец, человеческих,
неразумных своих деточек».
...А Бог выйдет курить на крылечко,
огонек в руках станет светочем.
И поднимут люди свои головы,
скажут: «гляньте, звезда рассветная».
А Господь усмехнется в бороду:
«ищешь бога? Да только нет меня».
Никогда не бери попутчиков.
Не разговаривай с незнакомцами.
Тут ты прав. Только дело случая.
Да и сказка моя не кончена.
До чего хорошо ты слушаешь —
все молчишь и глядишь внимательно.
А на свет фар слетаются души.
Вот, смотри, одна в белом платице.
Этой было всего четырнадцать,
когда небо над домом дрогнуло.
И посыпались, шурша крыльями,

на дорогу стервятники-бомбы.
Я ведь был там. Свинцом обвешанный,
кровью ржавой смачивал горлышко.
Я стрелял не жалея, не мешкая,
в человеческих детей-оборвышей.
Но в глазах ее.
Но глаза ее...
/мне ни водкой, ни сном не вытравить/
В них не бился страх. Только тихий лед,
безмятежный лед.
«Дай дурман-травы» —
Бога я просил. Приносил вино,
агнца приносил, приносил руно.
«Я же худший сын из твоих сынов,
успокой меня, дай мне сон без снов».
Только Бог папиросу выбросил,
повернулся лицом обветренным.
Усмехнулся, да спросил:
«Ищешь бога?
Да только нет меня».
...И с тех пор я слегка помешанный.
Не пугайся, с тобой я — вежливо.
Стало много на свете нежити.
Бог устал. Кто накажет грешников?
Дождь рассыпался мелкой моросью,
по машине бьет, что на обочине.
Триста шесть километров до города.
Мы остались здесь в одиночестве.
Посмотри: взгляд мой злой, измученный,
и в зрачках пляшет лунное солнце.
Никогда не бери попутчиков.
Да и сам не садись к незнакомцам.

«Я принимаю лекарство от страха...»

Я принимаю лекарство от страха,
делаю вдох и иду на работу.
Слушая музыку мёртвого Баха
и прикрывая ладонью зевоту.

Черные сливы в треснувшей вазе,
пепел в хрусталь, начищаю ботинки.
Ну до чего я теперь безобразен! —
так безобразен, как будто с картинки.

Ровный пробор, и очки, и рубашка,
и обязательно — кислая мина.
Всё по порядку, а значит, не страшно,
всё, что по правилам, то объяснимо.

То, что я вижу, видеть не стоит,
мне, представителю среднего класса.
Вы не встречали гаргулий у стоек?
Цербера, ждущего очередь в кассу?

Из бухгалтерии Марья Петровна,
на самом деле — отменная ведьма,
на шабаш летала ночью во вторник,
носит браслеты, покрытые медью.

Демоны очень противные мрази —
тащат прохожего на перекресток,
переезжает его на КамАЗе
смуглый водитель, измазав колеса.

Я пожимаю плечами устало,
тру переносицу потной ладонью.
Как же меня всё вот это достало.
В офисе пахнет адовой вонью.

Маленький чёрт прицепился к лодыжке,
(маленький да, только весит немало).
Я объясняю причину одышки:
это болезнь всех клерков – усталость.

По телевизору – войны и склоки,
вейперы, рокеры и покемоны.
Да и мельдоний всех беспокоит...
(а я под окнами видел дракона).

Надо спешить, к благоверной в квартиру,
(я называю любимую «деткой»).

«Яйца, хлеб, да пол литра кефира» —
в трубку стрекочет, не хуже наседки.

Мёртвой старушке кивнув у подъезда,
в лифт пропускаю спешащего духа.
Мягкие тапки и мягкое кресло,
вальсы Шопена усладой для слуха.

В общем-то, можно сказать, привыкаю,
на ночь глотаю снотворное в каплях.
...Детка впивается в горло клыками,
шепчет на ухо: спи крепко, мой сладкий.

«...ВОТ ОПЯТЬ Я СЛЫШУ, КАК ЖУК- ДРЕВОТОЧЕЦ...»

...вот опять я слышу, как жук-древоточец
пожирает стены моей темницы.
Как приветливый ветер юго-восточный
проникает в открытые окна-глазницы.

Как жужжит в паутину попавшая муха,
и как бьется в стекло быстrokрылая птаха.
Каждый шорох выходит за грань ультразвука,
погружая в пучины бездонного страха.

Я перила и лестница. Тяжесть ботинок
по хребту моему отзывается стуком.
Червь щекочет стопу мою в погребке винном,
ржавый гвоздь острым зубом впивается в руку.

Я есть ставень истлевший, скрипящий уныло,
я покрыт черепицей разбитой и старой.
Я крыльцо, на котором, усталость отринув,
заблудившийся путник раскурит сигару.

Я вздыхаю, и двери трепещут от вдоха,
и разносится гулом насмешливым эхо.
И луна, обнажив гладко бритую щеку,
нависает над крышей моей островерхой.

Не пугайся, здесь нет приведений прозрачных,
злые духи не прячутся под половицей.
Я лишь дом позаброшенный, спрятанный в чаще,
Стань моим редким гостем, ступи за границу.

И когда ты войдешь, туфли вымазав пылью,
ветер листья встревожит и страшно завоет.

...я захлопну дубовые двери входные,
и уже никогда,
никогда не открою.

«Не ходи, Аглая, в запретный лес...»

«Не ходи, Аглая, в запретный лес,
где туман, как свежее молоко.
Где не видно месяца и небес
из-за тьмы нависших древесных крон.

Не ходи, Аглая, там счастья нет,
там нет места сильным и молодым.
Ты же помнишь Якова? – Был как свет,
а вернулся сгорбленным и седым.

И молчит теперь – в рот воды набрал,
только, знай, сидит, тускло смотрит вдаль.
Будто кто-то сердце его украл...
До чего был весел! А нынче – хмарь».

Только что, ей, бабушка, твой совет?
Говорят подружки, что в том лесу,
есть цветок, что дарит на сотню лет
бесконечно сладостную мечту.

И избу оставив, в полночный час,
прочь идёт Аглая, накинув шаль.
Лишь трепещет брошенная свеча,
да слезу роняет – ей девку жаль.

Вот поселок маленький позади,
и маячит темной громадой лес.
Слышишь, рать древесная, расступись!
Человек идёт, гость идёт к тебе.

Не боясь ни лешего, ни дриад,
раздвигает ветки своей рукой.
Не шумит Аглая, ведь говорят,
будто этот лес, как она – живой.

Да ступает в чащу, где тьма царит,
в сердцевине самой цветочек тот,
и прекрасней он утренней зари,
ароматнее всех земных цветов.

Но хохочет филин в густых ветвях,
скалится лисица, глодая кость:
«вот гляди, Аглая – судьба твоя».

...а цветок горит, как Жар-птицы хвост.

Но коснувшись пальцами стебелька,
ощущает зябкую в теле дрожь.
И пленяет душу её тоска,
будто бы в груди вонзили нож.

Вот стоит Аглаюшка на ветру,
и сверкают дико её глаза.

Да, цветок тот дарит дурман-мечту...

Но её исполнить ты должен сам.

Воротилась девка, бледней Луны,
на плечах седая лежит коса,
а наутро сгинула, словно дым,
и не стали люди её искать.

И пока не выйдет та сотня лет,
ей плутать с проклятием за спиной.
На любой земле есть Аглаин след,
всё идёт она за своей мечтой.

«Сегодня очень странная луна...»

Сегодня очень странная луна,
я не уснул, пересчитав баранов.
И ночь, и снег, и город из окна,
всё кажется придуманным и странным.
Но чу! – услышь шаги по мостовой,
там Смерть идёт. Скорей за занавеску!
И глаз его единственный, кривой,
вращается, осматривая местность.
И полушубок на худых плечах,
и драная шапчонка из овчины,
всё утлое, и кажется сейчас
лицо его ваянием из глины.
Он тянет пальцы к пьяному хлыщу,
что волочится еле из пивнушки,
и соль души, и всю прогорклость чувств,
он тянет из него, как из подружки
ты слухи вынимаешь по чуть-чуть,
и юноша вдруг падает в сугробы.
А Смерть глядит, его кривой прищур
меня невольно заставляет вздрогнуть.

Смотри, а там, под желтым фонарём,
стоит унылый ангел в белой робе.
(Укутай под халатиком бельё,
не то нас отнесёт к дурной породе).
И колокольцы на его руках
звонят печальной погребальной песней,
он весь – не жизнь, а будто пыль и прах,
а ведь бескрайнего блаженства вестник.
Он Смерти предлагает закурить,
они дымят, колечки выпуская.
И город, понимающий, молчит,
отправив спать последние трамваи.

Всё-всё исчезнет, люди отнесут
покойниц-ёлок в мусорные баки.
И вместо торта – повседневный суп,
в шкафы повесят праздничное платье.
Как всё бессмысленно и как легко!
И у судьбы повадки первой шлюхи.
А червь-король, что нынче под стопой,
устроит после пир на нашем брюхе.
И мы, не видя, ненавидя всех,
и презирая нищих, слабых, хилых,
мы прожигаем свой короткий век,
в бесцельной злобе истощая силы.
Но разве мы не созданы любить?
А впрочем, знать ли мне творенья тайны?
Я лишь могу ту малость сохранить,
что в своем сердце вырастил случайно.

Но ангел докурил, ступает прочь,
и Смерть уходит в тьму, поправив шапку.
Какая всё же сказочная ночь!
Огни на ёлках как сверкают ярко!

Давай отправимся в кровать с тобой,
утешь меня, ладонями лаская.
Пусть город спит, безликий и кривой,
укутанный Рождественской печалью...

«В этом дрянном космическом звездолёте...»

В этом дрянном космическом звездолёте,
больше похожем на памятник дадаизму,
старый бобинник рыдает по Миннесоте,
чахлым магнитно-катушечным атавизмом.
Двигатель на какой-то предсмертной тяге,
тщетно пытается выйти на третью скорость.
Космос хорош напечатанным на бумаге,
где в лёгкой дымке блестит Вероникин волос.
Сколько ещё световых кочевать во мраке?
Вспышкам кометы я радуюсь, как ребёнок.
Роботу-технику выдумал кличку Лакки,
выставил на экранах сплошной зелёный.

Джуди, ты видишь Землю во тьме крошечной?
Твой тихий вздох прерывается белым шумом.
Радиоволнам не выразить нашу нежность,
память-песок разнесло по углам самумом.
Джуди, я позабыл все простые вещи:
давку в метро и кофейную муть в стакане.
В бедной моей голове разрушения хлеще,
чем от падения метеорита на Юкатане.
В складках материи тёмной не сыщешь бога,
сможем ли мы воссоздать его как идею?

Я бы хотел прошвырнуться по Орчард-роуд,
встретить похмельное утро в плохом отеле.
Я бы хотел по колено залезть в сугробы,
и пропустить сквозь пальцы речную воду,
Вместо полёта в объятьях стального гроба,
спать в летнем парке под пологом небосвода.

Джуди, соври, (всё равно твоих глаз не видно),
будто в скитаниях ты отыскала Землю.

Я говорил с марсианским всезнайкой-гидом
о вероятности множества измерений.
Мир умирал, пока мы напивались в барах,
куревом, хохотом, похотью наслаждаясь.
Нашу планету взорвав и отдав пожарам,
как же мы потрясающе облажались.

Я заплатил бы за малое очень много,
если б имел хоть что-то, на самом деле:
снова услышать лай своего бульдога,
выстоять очередь в пятничном «Кэш энд Керри».
Это мой крест – быть живым на костях планеты,
грея озябшие пальцы в карманах худи,
тщетно травиться просроченной сигаретой.
[Лучше бы мы с тобой умерли тоже, Джуди]

Василиск

Когда на город ложится тьма, и сны трепещут в объятьях рук, по переулкам скользит туман, сердечный ритм ускоряет стук, Мари спускается в свой подвал, ступеньки громко и зло скрипят, не повинаясь ее ногам и нарушая безмолвный час. Чулки, заштопанные иглой, по пыльным доскам легко скользят, в подвале холодно и темно, и воск свечи источает чад. Паук, пылинки поймавший в сеть, пикирует на ее плечо, тьму разрезает неяркий свет, в груди тревожно и горячо. Мари сжимает в руке подол, дрожа, как тонкий древесный лист.

В углу, забившись под старый стол, клыкастый прячется василиск.

Он появился шесть дней назад, разбив стекло и горшки с землей. Он истоптал перед домом сад, когтистой, крепкой своей ногой. Хрипя и брюхом сдирая дёрн, он рухнул возле ее двери, услышав полный страданий стон, несмело вышла к нему Мари. Чудовище, что приносит смерть, покорно было ее рукам. Покуда брезжил апрельский свет, она лечила его от ран. И глядя жесткую чешую, она шептала ему: «держись». Пусть даже после ее убьют, но будет длиться чужая жизнь.

Но монстр забрался в ее подвал, все так же не открывая глаз. Из острой пасти горячий жар дышал ей в спину. Сменялся час. Он ел мышей и хвостатых крыс, лакая теплое молоко. Большой, пугающий василиск, вдруг показался простым котом.

Мари живет здесь совсем одна, ее семья умерла давно. И только ласковая весна с утра стучится в ее окно. Мари стирает и шьет белье, так зарабатывая на хлеб. Но очень жаль, что ничто не ждет, когда тебе лишь семнадцать лет. Веснушки россыпью на щеках, и луч запутался в волосах. Она красива, но так мягка, что неприметна ее краса.

Но рядом с ней теперь василиск.

Когда на город ложится тьма, и ветер вешний игрив и чист, она спускается в свой подвал. У них есть тайна: с полуночи, когда секунд затихает бег, и в скважине шелестят ключи, он – не чудовище. Человек.

И в этом облике, в первый раз его увидев, она смогла тихонько вскрикнуть один лишь раз, и потрясенная, замерла. Он, закрывая глаза рукой, неловко дернул ее за шаль. И голос, теплый, совсем живой, сказал: «спасибо» и «мне так жаль». Они болтали почти всю ночь, он рассказал, что из дальних стран. Пел песни, (песни рождали дрожь), и прикасался к ее рукам.

Любовь от разума далека, она не знает мирских границ. В руке трепещет ее рука, и происходит сближенье лиц.

И рот чудовища так горяч, а губы ласковы и нежны. И горло вдруг исторгает плач, зрачки расширены и темны. Но он не смотрит в ее глаза, и шепчет тихо: «нельзя, там смерть». И ткани черная полоса ломает правильность тонких черт. И он целует ее легко, касаясь пальцами мягких щек, так изучая ее лицо, и плавя сердце, как свечной воск.

Но утром, снова — он только монстр, и кажется неживым и злым. Клыки и когти, огромный хвост.

Мари, укрывшись, спит рядом с ним.

Она уходит готовить чай, из шкафа вытащив пузырек. Мари не любит ходить к врачам, но вот лекарство исправно пьет. Ведь у нее есть один секрет, и тайна, как уголек, темна: за ней тихонько шагает смерть. Мари всерьез и давно больна.

И снова ночью, скрывая дрожь, она тихонько идет к нему. Его любовь — заостренный нож. Но лишь она исцелит от мук.

Она целует его в висок и безрассудно идет на риск.

Срывает ленты кривой кусок:

«смотри в глаза мои,
василиск».

Мисс Эл

В окно тихонько стучится май, нос и ладони прижав к окну, мисс Эл глядит, как ползет трамвай, спеша за бегом шальных минут. Цветные зонтики над землей парят и рвутся из чьих-то рук, дождинок мелких, жужжащий рой, со стуком падает на траву. Мурлычет рыжий домашний кот, какао в чашке и сладкий кекс. Мисс Эл идет лишь четвертый год, но нрав достоин больших принцесс. И в день рождения ждет гостей, подарки, сладости и цветы. Ватага шумных, смешных детей сломает розовые кусты. Так безмятежно и так легко, и даже тучи – хороший знак.

Мисс Эл ведет по стеклу рукой.

Часы негромко скрипят:

«тик-так».

Тик-так.

В ладони падает мягкий снег и люди мимо спешат в метро. Мисс Эл, прижавшись к сырой стене, стоит и кутается в пальто. Декабрь в этом году суров и снег ложится, как белый плед. Но он принес первую любовь в ее семнадцать неполных лет. И зажигаются огоньки, корица, хвоя и мандарин. Шаги любимого так легки, но среди тысячи – он один. В объятьях крепких и нежных рук, мисс Эл смеется: «такой дурак!», и «знаешь, я без тебя умру».

Часы тихонько поют:

«тик-так».

Тик-так.

Три одуванчика в волосах, (у сына точно ее глаза). Ему неведомы боль и страх, над ним – бескрайние небеса. У Эл в духовке сгорает кекс, весь дом на ней и забот полно. Жизнь – многослойный, занятный квест, а дни – насыщенное кино. Муж возвращается ровно в семь, (улыбка, ямочки на щеках), с букетом розовых хризантем.

Часы без умолку бьют:

«тик-так».

Тик-так.

Опавших листьев цветной ковер ложится под ноги, в небеса вонзает башни свои костёл, мальчишек звонкие голоса галдят, несутся куда-то вдаль, врываясь вихрем на школьный двор. Сентябрь ветреный, как февраль, и парк притихший уныл и гол. Мисс Эл (перчатки, пальто и шаль), шагает, тростью считая шаг. Всё было. И ничего не жаль. В руках у внучки воздушный шар. Скамья у статуи, в тишине, присесть, немножечко отдохнуть. Старушка тихо зовет: «Аннет, отдышимся, а после – в путь». Осенний воздух тяжел и густ, и время вводит под кожу яд. Под хрупких листьев негромкий хруст, Эл засыпает.

Часы стоят.

Тик-так.

Эл просыпается нелегко, в глаза вливается яркий луч. А в небе – коконы облаков, и солнца диск, словно пламя, жгуч. Она не чувствует своих ног, а рядом – крокусы с небоскрёб. И горло не производит вдох, а сердце будто сковало в лёд. И вместо гибких, изящных рук – шесть лапок, тоненьких, как струна. Кричит, но не порождает звук, снаружи – вязкая тишина. И тяжесть странная за спиной, Эл вдруг неловко ныряет вниз. Так ветер сносит ее волной и раздается противный свист. Ей только кажется – это сон, нет ран и страха, и не болит. Над полем слышится тихий звон. Эл понимает – она летит. Десятки бабочек над землей, танцуют – ворох живых цветов. «Так значит, стала и я такой», – мисс Эл играет своим крылом. И шепчутся все жуки в траве, скрипит их тонкий, писклявый смех: «как будто спятила наша Эл. Ей снилось, что она – человек».

«У меня нет когтей и рогов...»

У меня нет когтей и рогов,
и совсем не видно хвоста.
Я не сын чертей или богов,
я могу касаться креста.

Это странно —
но я вампир,
никогда не вкушавший кровь.
С первых дней, как родился мир,
чтобы выжить, я ем
любовь.

Мне не важно, мужчина ты
или женщина. Всё равно.
Нераскрытые лепестки
ваших губ
одинаковы.
Но,
кожа женщины так сладка,
ароматна и так нежна.
Она тает в моих руках,
опьяняет похлеще вина.

Я глотаю чужую любовь,
словно теплый гранатовый сок.
Он стекает с моих клыков
смесью стонов, желаний и слов.

Мои жертвы не чувствуют боль
и всегда остаются в живых.
Отыграв свою жалкую роль,
их сердца

превращаются
в пыль.

Я древнейшее существо,
я прошел сотни тысяч лиг.
Так ответь же мне, отчего,
я споткнулся на полпути?

Ты стоишь у фонтанных чаш,
и в зрачках моих
дикие звери,
замирают.

Ведь ты сейчас
как Венера с картин Боттичелли.

Твои плечи целует апрель,
люди рядом тускнеют и тают.

И мне кажется, что теперь,
это я —
тот,
кого
пожирают.

Я сегодня в последний раз
поцелую твои ладони,
скулы, губы, созвездия глаз.

Пусть в тебе мое сердце утонет.

Ты — ошибка.
И я — ошибка.

Мы столкнулись, и я – горю.

Счастье призрачно, счастье зыбко.

Я люблю тебя.

Я люблю.

Уходя, не смотри назад,
ненавидь меня каждой клеткой.
Я хотел затащить тебя в Ад,
сделать жалкой марионеткой.

Я пойду, поплотней пальто
запахнув,
прикрывая веки.
Ничего нет смешней, чем то,
что я стал слабей человека.

И пока небо сходит с оси,
а луна надевает рубашку,
алчный монстр в моей груди
умирает, сгорая от жажды.

«Этот старый отель мне посоветовал друг...»

Этот старый отель мне посоветовал друг.
Говорил, живописное место, сосны и ели.
«Освежись. На морозном зимнем ветру
проведи отпускные свои недели».

Всего месяц прошел, как со мной порвала Янмэй.
Но в груди, как и прежде, стучали камни.
Я хотел убежать от города и от людей.
От людей, к которым она прикасалась руками.

Два часа в самолете, автобус, прокат авто.
И по узкой дороге все глубже в зеленую чащу.
Говорили, отелю уже за сто,
но вблизи он казался страшнее и старше.
Управляющий, очень вежливый господин,
был морщинист и стар, (как будто ровесник отеля).

Я ступил за порог прекраснейшей из своих зим.
Я вошел в этот дом,
где прожил две лучших недели.

Номер был небольшой, но уютный,
с видом на лес.
Постояльцев в ту пору было немного.
Снег летел с ослепительно белых небес,
и блестящей змеей извивалась дорога.
В тихом баре я пил раскаленный джин,
под мелодии сонного старого блюза.
И в груди расплавлились осколки льдин,
и прошедшее не казалось такой обузой.

Я ложился спать, прислонившись спиной к стене.
Счет до ста и обратно,
сны сплетались, как кружево.

Но одной лунной ночью, как будто бы в полусне,
я услышал, как за стеной
заиграла
музыка.

Совершенные ноты «Ballade pour Adeline»,
беззаботно бежали по клавишам.
Эта светлая музыка чистой любви,
заняла мое сердце до самого краешка.

Кто же этот сосед, в чьих ладонях живет волшебство?
Я дрожал, стуча в двери чужого номера.

Но когда в дверях показалось ее лицо,
мир сошел с мертвой точки,
он стал, как мечта,
огромен.

Ее звали Минчжу.

Я помню ее лицо,
ее длинные пальцы и маленькие ладони.
Ее черные волосы, завязанные венцом.
И глаза,
в которых легко утонешь.

Она так же сбежала из города, как и я.
Так же, как и я,
была брошена и разбита.
Ее руки несмело касались меня,

мои руки снимали ее белый свитер.

Я ласкал ее ночью,
в крошечной тьме.
Целовал ее губы, ключицы, волосы.
Бесконечное счастье цвело во мне,
и ростками тянулось к ее голосу.

Две недели прошли, как короткий час.
Меня ждал мой Гонконг,
живущий на бешеной скорости.
Я совсем не желал говорить: «прощай».
И боялся сказать «люблю»,
из-за глупой гордости.

В девять вечера, я снова стучал в ее дверь.
Мне достаточно было
услышать всего одно слово.

Но она не открыла,
и в сердце моем метель
закружила,
и сжала ладонями горло.

«Где та девушка, из номера двадцать три?» —
я спросил управляющего,
выбежав спешно.

Он смотрел на меня, и сердце застыло внутри.
Он смотрел на меня,
как будто бы,
я — сумасшедший.

«Этот номер закрыт уже восемь лет.

Был прискорбный случай, ужасное самоубийство.
Молодая девушка, (я помню лишь силуэт),
была найдена мертвой, повешенной. И в записке
что она написала на рваном тетрадном листе,
а потом положила под старую статую Будды,
было только две фразы: «Простите меня, вы, все»,
и еще: «я тебя никогда не забуду».

С каждым словом его,
мое сердце падало вниз.
Я подумал, что может, и правда, спятил.
Я ушел, ощущая тяжесть ее руки.
Ощущая тепло ее нежных объятий.

Я вернулся в Гонконг, в свой одинокий дом.
Ожидая мучительно долгое лето,
коротая бессонные ночи, иду на балкон,
покурить,
считая часы до рассвета.

И когда в лучах солнца танцует пыль,
моя Минчжу тихонько подходит ко мне, босая.
Я целую ее, как будто уже привык.
И как будто бы, она все еще здесь.
Живая.

«Молодой шейх Карим идет по горячим пескам...»

Молодой шейх Карим идет по горячим пескам,
солнце рыжее с небосвода катится вниз.
Золотистые змеи льнут к его смуглым рукам,
тянет за галабею хитрый оранжевый лис.

Впереди расстилается сонная пустота,
да скрипит под ногами песчаная чешуя.
Небо крошится, сыпется серая сталь,
со змеиных клыков стекает прозрачный яд.

Шейх продал свою душу за сотню арабских солнц,
за дирхамы и женщин, прекраснейших, как луна.
Но посмотрит назад —
и кажется, все это — сон.
А судьба его отвратительна и темна.

Лис все тянет и тянет, и начал уже кусать.
Шейх хватает ткань, шепчет: «отстань, я сам».
Повинуясь бездонным его глазам,
шейх Карим поднимается на небеса.

И пока он идет по лестнице из облаков,
лис не сводит с него своих безразличных глаз.
Открывает пасть,
из пасти стекает кровь.

И оскалившись,
тихо считает:
«раз».

*

Ясухиро стоит в вишневом саду,
ловит пальцами белый цветочный снег.
Он отдал свою жизнь за чужую мечту.
И так счастлив теперь,
как будто бы
смерти
нет.

Он не слышит, как тихо крадется лис,
как шуршит под когтями его трава.
Ясухиро шатается,
резко падет вниз.
Лис смеется.
И произносит: «два».

*

Александра лежит на холодной земле,
и зрачки ее расширены дочерна.
Поднебесный фонарь на нее проливает свет,
треплет волосы застенчивая весна.

Из пореза на горле льется кровавый сок,
замедляется слабый сердечный ритм.

Лис подходит
и лижет ее в висок.

И как будто бы с жалостью,
шепчет:

«три».

*

Лис сидит на луне, болтая рыжим хвостом.
И мелькают вокруг созвездия-маяки.
Он грызет чью-то кость, (его безыскусный корм).
Только кость эта – из человеческой руки.

И пока люди мечутся, веря в богов и чертей,
в своих цепких когтях он держит бессонный мир.
Он отец всех историй, всех истин и всех детей.
Он палач и создатель, Яхве и Азраил.

И на Млечном Пути прорастает бескрайний лес,
где кровавые пятна цветут на заросшей тропе.
Там заблудшие души ищут свой путь во тьме,
чтобы, может когда-то, встретиться на Земле.

Это случается раз в девяносто лет...

Это случается раз в девяносто лет; черная птица садится на край колодца. Солнце палит, заставляя траву гореть. Женщина плачет, на свет порождая монстра. Черная птица в клюве держит цветок – ветку жасмина, душистого и живого. На тротуарной плитке алеет сок спелой малины, раздавленной под подковой. Ворон взлетает, врезаясь в воздушный поток. Ветер дрожит и мягко щекочет крылья. Город, подставив солнцу нагретый бок, стонет под тяжестью башен, угрюмо-пыльных.

Через границу, туда, где поет июль. К старому кладбищу и кованым воротам. В треснувшем мраморе – дыры, следы от пуль. Сторож кладбищенский прячет в кулак зевоту. Мерно шагает процессия, гроб на плечах. К свежей могиле, вырытой в воскресенье. Гроб опускают, (и кто-то начал кричать), крышка откинута, шепчет псалом священник. Тело укутано в саван, как в кокон, легко ветер целует морщинистые ладони. Ворон кружит, неистово бьет крылом, перья скрипят и воздух протяжно стонет. Тихой покойницы кто-то целует лоб, и на лице ее – сонная безмятежность. Ворон роняет из клюва душистый цветок, прямо на грудь, укрытую под одеждой.

Это случается раз в девяносто лет; небо из озера черпает теплую воду. Тенью по коже рисует неяркий свет, лунное яблоко катится с небосвода.

Он улыбается ей невесело, краешком рта, пальцы скользят по ключицам, лаская кожу. В горло врезается твердая, острая сталь, каждый глоток чуть слышен и осторожен. Выдохи их бесшумны, как ультразвук, катятся с нёба, скрываясь в чужой гортани. Влажный язык касается чужих губ. Их силуэты тонут в густом тумане.

Утром он накрывает ее плащом, глядя, как слабо трепещут ее ресницы. Пальцы скругляются в когти, врезаясь в дёрн.

Он превращается в черную-черную птицу.

Это случается раз в девяносто лет; он наблюдает за тем, как она взрослеет. Знает, какой пирог она ест на обед, сколько пятерок в тетради, следов на шее. Знает, какой мальчишка в нее влюблен, что ненавидит кофе и пьет какао. Все ее платья, (кружево, бархат и лён), туфли, заколки и сотни цветных булавок. Знает, что как и прежде любит жасмин, (так же, как в жизни до. Как и в жизни после). Он для нее ничтожен, почти незрим – черная птица, с взглядом стеклянно-острым.

Это случается в каждом из ста веков; он наблюдает за тем, как она стареет. И каждый день приносит душистый цветок, ветку жасмина снова кладет под дверь. Цикл непрерывен, к ней тихо подходит Смерть, острым ножом отделяя душу от тела. Ворон садится на гибкую, тонкую ветвь, не отпуская из сердца ослепшую веру.

Он провожает ее до последних границ. Песни стихают, сгорают церковные свечи. Небо касается мягких ее ресниц. Ворон, не глядя в глаза, тихо шепчет:

«до встречи».

И когда она вновь возрождается в теле дитя,
он наблюдает за ней сквозь оконные стекла больницы.
Чтобы, как феникс из пепла, воскреснув, опять,
в тысячный раз,
беспоощадно
в нее
влюбиться.

«Прислонившись лбом к обнаженной груди земли...»

Прислонившись лбом к обнаженной груди земли,
солнце, сравнившись с надиром, вспыхивает огнем.
В воздухе запах пионов, размеренно дышит Нанкин,
смуглый уличный Будда чертит линии чёрным углём.

Пыль взлетает с асфальта и медленно падает вниз,
обжигая нагретую кожу, догорает небесный пожар.
Ветер целует макушки деревьев, баюкая каждый лист.
Город, измотанный жарким летом, вымучен и устал.
Беспокойный народ спешит по своим делам,
гомон, ругань и смех, и кляксы цветных одежд,
пешеходы глядят в телефоны с мудростью Далай-лам.

И сквозь этот густой, живой человеческий лес,
незаметной фигурой, сжимающей в пальцах часы,
пробирается Тот-кто-должен-вести-отсчет.

Вслед за ним по пятам змеится призрачный дым.
Всякий, случайно задевший его, чувствует кожей лёд.

Он одет во все черное. Резкий контраст с лицом,
почти мертвенно бледным, но полным живой красоты.
Он изящен и строен, и кажется просто юнцом,
но глаза его смотрят так, что кровь начинает стыть.

Когда мир был маленьким, как рисовое зерно,
и не знал ни религий, ни войн, ни больших побед,
он стоял у больших необутых мозолистых ног
исполинского бога, создавшего весь этот свет.

И бог дал ему время: секунды, минуты, часы.
А он дал богу слово: держать цикл жизни в руках.
Он конец и начало, и правила здесь просты:
когда он скажет: «ноль»,
весь мир
обратится
в прах.

*

Каблуки Чжао Лан вбиваются в пыльный асфальт,
она очень спешит, лавируя между гудками машин.
Духи ветра целуют лицо и тянут чернильную прядь,
на груди ее, запертый в сталь, мерцает аквамарин.

Чжао Лан ужасно спешит. Ее шаг превращается в бег.
Сквозь толпу пешеходов, глотая дорожную гарь.

Запинаясь, врезается в чье-то плечо,
(кожа белее, чем снег),
она шепчет: «простите».

С небес проливается жидкий янтарь.

*

Тот-кто-должен-вести-отсчет глядит на пустой циферблат,
Стрелки часов отливают золотом в жарких закатных лучах.
Люди быстро проходят мимо него. Мир движется наугад.
Он считает: до Апокалипсиса остался всего один час.

Он стоит посреди перекрестка, недвижимый, как скала,
день почти уничтожен, но солнце на небе еще горячо.
Бабочки кружатся в медленном танце, готовятся умирать.

Он прикрывает ладонью глаза.

...и кто-то врезается в его плечо.

Это может быть химией, биологией, странным сном,
но когда их взгляды сливаются в единое существо,
ее губы и родинки, прядь волос, глаза (коньяк и вино),
все секунды, вдохи и выдохи,
превращаются в

в
о
л
ш
е
б
с
т
в
о.

Он глядит ей вслед, (Чжао Лан ведь ужасно спешит),
люди вокруг смеются, гудят, стрекочут и говорят.
солнце целует ладони земли, асфальт под ногами горит.

Он переводит стрелки часов,
и начинает отсчет
с нуля.

Шёлковый путь

Я иду по Шёлковому пути, по дорогам провинции Ганьсу, под ногами золото и нефрит, азиатский ветер горяч и сух. По щекам тихонько скользит закат, Сечжи пожирают степной огонь. Я глотаю жесткий песок и чад, и из глаз текущую злую соль. У дневных драконов горящий глаз, по моим ладоням струится пот. Смерть всегда случается в первый раз, и от страха крутит узлом живот. Мне навстречу движется паланкин, его тащат смуглые мертвецы. Мертвый император династии Мин говорит, что я его блудный сын. Заползает в рот вонь истлевших тел, к горлу подбирается тошнота. Их глаза стеклянные, губы – мел, мир вокруг меня изможден и стар. Я шагаю тихо, ни жив, ни мертв, мои ноги вязнут в густых песках. Если кто столкнется, то скажет: «Черт! Что за жуткий холод в таких местах?» Проходите сквозь, разрежьте вдоль, и лакайте кровь из открытых ран. Я иду, измученный и босой, и небесный плавится океан.

Для чего мне чувствовать эту тьму? Для чего мне видеть весь этот свет? Я хотел сбежать от ужасных мук, (кто сказал бы мне, что нирваны нет). Пожалей меня, я сегодня тих, и осколок неба стучит в груди. Я иду по Шёлковому пути.

И идти мне, сколько еще идти.

...в день, когда я стоял на том мосту и дракон Луны целовал мой рот, я глотал бурлящую пустоту и смотрел на гладкую кожу вод. Я желал спасения и любви, я хотел поведать планете боль. Дома, в чашке стыл белоснежный рис, и в камине медленно тлел огонь. И когда я сделал последний шаг, и когда я сделал последний вдох, надо мной парил желтый лунный шар, из небесных ран проливалась кровь. Стихла жизнь ненужного существа, но со мной навечно осталась грусть.

Я застыл в воде и закрыл глаза, а открыв – увидел Шёлковый путь.

Отливает золотом чешуя, у Чжулуна коготь и остр, и крив.

Если бы хоть кто-то меня обнял,
то сейчас я все еще был бы жив...

«Мой дорогой отец, пребывающий в анабиозе...»

Мой дорогой отец, пребывающий в анабиозе,
я ищу лекарство, надеюсь на скорый успех.
Наш далекий город раскрасила ранняя осень,
я узнал эту новость от тех, кто сейчас на Земле.

Я поставил на «Сириус» двигатель, новый, хороший.
Мы исследуем космос, (я и мой робот Сэм).
Сэм немного скрипит, он, кажется, слишком изношен.
Я нашел неполадки в одной из внутренних схем.

На обед ем удон и жареных осьминогов,
иногда, по субботам, готовлю коричневый рис.
На планете К-40 искали присутствие Бога.
Не нашли. Млечный путь довольно тернист.

Я всегда ждал тебя из полетов, один собирался в школу.
надевал рюкзак и завязывал крепко шнурки.
И в наушниках слушал запись – твой простуженный голос.
Ты рассказывал сказку, и я прекращал хандрить.

Мои ноги тонули в ботинках, плечи – в огромной куртке,
я курил сигареты, стреляя у старших ребят.
Я, наверное, был одиноким в токийских глухих переулках,
часто плакал по матери, и очень скучал без тебя.

Помню, был Новый Год, я шел по дороге к храму,
написать на дощечке молитву за нас двоих.
Телефонный звонок раздался из глотки кармана,
шумно дышащий город внезапно стал очень тих.

Так случается, знаю. И люди зовут это кармой.
Неудачная карта – как чья-та погибшая жизнь.
Незакрученный винтик, пожар по законам жанра,
Помню, как мое сердце с разбегу шагнуло вниз.

Мой дорогой отец, пребывающий в анабиозе,
через шесть месяцев в Киото придет весна.
Я возьму с собой Сэма и прилечу к тебе в гости.
А пока – спокойного сна тебе,
мирного сна.

Реинкарнация

Я стану карпом, блестящим карпом в пруду столетнего короля. И будет солнце больным и жарким, оттенка красного янтаря. Я буду плавать, хвостом мешая водицу, чистую, как стекло. А ночью, лунный прозрачный шарик коснется гладких моих боков. Король столетний с девицей юной, омочит ноги в моем пруду. И после выпитой пары рюмок, уложит девушку на траву. А я, оскалившись ртом беззубым, играя жабрами над водой, омою каплями ее губы, блеснув сверкающей чешуей. И скроюсь в мягкой и вязкой тине, сливаясь с илистым серым дном. И во Вселенной, как на картине, я буду бледным цветным мазком.

Я стану карпом, блестящим карпом. Меня поймает и съест слуга. В его желудке, пустом и жарком, я буду, выпотрошенный, лежать. И растворенный кишечным соком, я стану частью его души. Собой заполнив десятки, сотни, сосудов мелких и тонких жил. И ненавидя всей кожей сушу, снимая кожу, как старый грим, вливая песни сирены в уши, слугу измучив, я стану им. Я буду драить горшки и чашки, курить сигары у камелька, носит малиновые рубашки, закатывать до локтей рукав. Встречаться с девками из простушек, и целовать их в густой траве, ловить губами сок спелой груши и гладить псину по голове. Растить детей, неуёмно-шумных, служить столетнему королю, сносить любые слова и грубость, и допивать недопитый брют. Я буду маленьким человеком. Достигнув возраста сорока, я отыщу возле замка реку, в которой плавают облака. Скользнув под воду слепой русалкой, я буду, словно дитя, нагой. Я снова стану блестящим карпом, и волны примут меня домой.

Кладбище кораблей

Там, где сила воды встречается с силой земли, и над лбом океана восходит небесный пожар, там лежат на песке погибшие корабли, их большие бока день за днем поедает ржа. Там летают над волнами чайка и альбатрос, и горячее солнце тянет к воде лучи, обжигая вонзенный в песок корабельный нос, а вода в океане вибрирует и урчит. Там спокойно и тихо, и мягко поет прибой. И как будто огромные туши мёртвых китов, там лежат корабли, что уже не придут домой, вспоминая давно покинутых моряков.

Они снятся мне третий год и четвертый день: галеоны, фрегаты, бриги и крейсера. Как на пляж бесконечный ложится большая тень, зацепившись за ванты, болтаются паруса. Там лежат у воды тяжелые якоря, клочья порванных флагов цепляются за бушприт. И над кладбищем этим, восходит огнём заря, и обшивка бортов, нагревшись, как печь, шипит. Там линкоры соседствуют с деревом и смолой, а разбитые мачты занесены песком. И качается небо над поднятой головой: купорос и лазурь, да лунное молоко.

Там шагает по берегу сгорбленный и седой, незнакомый знакомец, Кристофер-капитан. Его грубая кожа окрашена в медь зарей, а к ногам обнаженным ластится океан. Он плотает табачный дым и холодный ром, вытирая ладонью слезы с небритых щек. Это старое кладбище – будто его второй дом, где проходит за месяцем месяц, за годом год. Его верный корабль покоится на песке, старый Кристофер плачет, скрючившись, у руля. Я смотрю на него, и пульсирует боль в виске, странным чувством, что Кристофер – это я.

И когда забирается утро в мою постель, я с трудом разлепляю заспанные глаза. Перед взором маячат обломки разбитых рей, а оконные шторы похожи на паруса. И сон кажется явью, а явь – бесконечным сном. И соленое море из крана течет в стакан. За бетонными стенами чудится грохот волн, между ребрами пенится яростный океан.

И когда одряхлеют кожа моя и плоть, седина паутиной осядет на бороде, я оставлю свой дом, и, опираясь на трость, я пойду умирать на кладбище кораблей.

«Там, где Бахус-король распивает вино и эль...»

Там, где Бахус-король распивает вино и эль,
где играет безумная музыка, рвётся бит,
он ныряет в толпу чужеземцев, тире – людей,
выбирая из вариантов: убить/любить.

Непогода на Марсе, песчаные бури, пыль
забивается в ноздри. И плохо идет сигнал.
На Земле теплый дождь, к нему он почти привык.
(Помечает в углу: вода может съесть металл).

Тихо пение Марса. На красной планете вождь
вертит камни в ладонях и скалится в пустоту.
Плоть землян очень вкусная, острый нож
проникает под кожу, и мясо горчит во рту.

Есть обычные правила: имя – двенадцать жертв,
положение в обществе – сорок, сто двадцать – дом.
Ему хочется стать сильнее, повзрослеть уже,
бросить сотню голов под грузный, тяжелый трон.

На счету – всего семь и способности на нуле,
он шагает в кабак, ему нравится алкоголь,
запах пота и похоти, сплетение взглядов/тел,
как на самом конце сигареты шипит огонь,

как качаются девушки в полуплатьях, полуню,
как отчаянно жмутся к телу и ищут рот.
Он берет без прелюдий, совсем не любя возню.
Эта рыжая станет восьмой. Он её убьет.

Каждый раз почему-то дерьмово, (почти смешно),
он кладет ее тело в багажник и жмет на газ.
Возвращаться домой приходится через окно,
по столице проходит утро, четвертый час.

Есть слова в словаре непонятные, хоть убей:
«дружба», «радость», «сомнение», «счастье», «боль».
Они ластятся к корке черепа, словно клей,
и особенно странным кажется здесь «любовь».

Нет, не физиология, пишут, что что-то «вне»,
вне сознания, разума, тела, простых вещей.
Запрещенное слово, на Марсе таких и нет,
но запретного отчего-то хочется всё сильнее.

Тихо пение Марса, лениво жужжит в ушах,
за оконным стеклом сытый город устало спит.
И почти незаметно движется синий шар,
еле слышно вращается вокруг своей оси.

Завтра он встанет поздно, щетину сотрет со щёк,
красным маркером вымажет морду календарю.
Он попробует снова и снова, он вкусит людей ещё,
не решив, что писать перед «бить» —
«у» или же «лю».

Капитан Марко

Там, где зима переходит в лето, с разбегу солнце ныряет в море. Там пролегает граница света, где бриз забвенья смывает горе. Здесь воды быстры, и волны остры, и в черной жиже плывут медузы. И в водах этих, дрожащий остров, волны шлифует песчаным пузом. Здесь воет ветер, скуля и плача, в диких ущельях, прибрежных скалах. Бригам заблудшим суля удачу, манит маяк пылающим жаром. И моряки, сквозь туманный морок, видят оранжевый глаз циклопа. Остров поспешно возводит город, порт и таверну – обитель бога.

Вот капитан, его имя – Марко, (скулы остры, как точильный камень). В десять – взошел на торговую барку, в двадцать – ушел под пиратское знамя. Быстрый корабль, команда из лучших, самых опасных и злых мерзавцев. Марко ворует порох и пушки, вечный кошмар для сиятельных старцев. Он видел штормы и дикие бури. Выжил, лишившись правого глаза. Марко пьет виски, стреляет и курит. Прячет за смехом опаснейший разум. Он находил легендарных тварей, и, говорят, был влюблен в сирену.

Остров, укрытый туманной вуалью, вяжет из кружева белую пену.

День неудачный. Как впрочем, и месяц. Дьявол, играя, сбивает с курса. Марко немного наигранно весел, слушает звуки подводного пульса. Воды чужие. И компас поломан, север и юг меняет местами. Выпиты бочки с запасами рома, и кладовая почти что пустая. Парни отважны, и держатся стойко, не паникуют, их нервы – из стали. Справимся, кэп – говорят они, – только, может быть, самую малость устали. Было и хуже, штормило и прежде. Что же предчувствие шепчет о смерти? Марко, почти потерявший надежду, лишь усмехается: выживем, черти! Ветер срывает черное знамя. Буря смолкает, сменяясь молчаньем. Сквозь серый смог прорывается пламя. Земля, капитан! Мы сумеем причалить.

Остров встречает гостей усталых. Тихо и пусто. Но окна таверны пышут уютным и ласковым жаром. Видно, шалют напряженные нервы – думает Марко, ступая на берег. Выспаться бы, да горячего рома. Волны рокочут, как дикие звери. «Шторм прекратится – направимся к дому».

В таверну врываются запахи моря. Сгорбленный старец сидит у камина. Пропитанный порохом, потом и солью. С лицом землянистым, как будто из глины. Изрезана шрамами грубая кожа, свисают на лоб белоснежные космы. Пиратов встречает, как будто прохожих: какой же вас ветер занес на наш остров?

Еда и напитки, все страхи забыты. И Марко расслабленно курит сигару: я вижу, старик, ты бывал в гуще битвы. И, значит, историй ты знаешь немало. Поведай же путникам добрым легенду. Старик улыбается криво и странно: ну, что ж, будь по-твоему. Ты сказал верно, есть много историй, и новых и старых. Так слушай же: есть в этих водах поверье. Что те корабли, что исчезли в пучине, и все капитаны, вдруг ставшие тенью (забыты и подвиги их, и имя), на деле — ушли за границу света. Там бьет океан, беспросветны туманы, и мачты ломает порывами ветра. И Роджер хохочет злорадно и пьяно. И в самые злые, безлунные ночи, из пены морской там является остров. Где мертвые ходят в изорванных в клочья, прогнивших одеждах. И когти их острые. И бригам заблудшим дарит надежду, маяк — злого дьявола красное око. И знать бы матросам — подумать бы прежде, чем жизни вверять в руки водного бога. Но смело ступают на остров безумный. На проклятый остров, на чертову землю. Где небо пронзают скалистые зубы. И время скользит, бесконечное время. Не ведают люди, наивные люди, не видя в воде утонувшее солнце. Что утра не будет, и завтра не будет. И то, что домой никто не вернется...

Старик замолкает. Так тихо в таверне, что слышно, как ветер царапает стекла. И правда ли было решением верным, зайти в это логово старого волка? И юнга испуган, но Марко смеется — он слышал истории и пострашнее. Наш кок знает лучше, уж коли напьется. А он, как известно, частенько пьянеет. Спасибо, старик, за добро и ужин. Но мы — на покой, пусть усталость заспится. Пираты, шатаясь, выходят наружу.

И смотрят им вслед две пустые глазницы.

*

Там, где зима переходит в лето, море качает мертвые бриги. Здесь пролегает граница света — страшная сказка из старой книги. Марко шагает по побережью, дым пропускает сквозь вскрытые ребра. Волны играют, шепчут так нежно, бриз напевает о светлом и тёплом. Скоро прибудет новый корабль, правда, приходят всё реже и реже. Сильные (некогда) руки ослабли. Голос теперь — металлический скрежет. Бравое сердце спит сном безмятежным. Призраком быть — не такое уж горе.

Марко шагает по побережью.

Глядя в навек недоступное море.

Капитан Марко II

Здесь стопы бога целуют волны, и серой дымкой скользит туман. И в тишине отсыревших комнат слепые духи воздвигли храм. Качает вывеску южный ветер: кабак «у Роджера» – что за чёрт. И от заката и до рассвета нечистой силой заполнен порт.

Плывите мимо, большие бриги, лодчонки утлые, корабли. Поверьте сказке из старой книги – здесь дьявол властвует над людьми.

Бушует ветер, срывая парус, и Марко зол, как дворовый кот. Ну что за судно ему досталось – корыто прачки быстрее плывет. Он видит в грёзах большой корабль, чтоб был и быстр, и свиреп, и тих. Да и матросы – не эти бабы, (других в притонах и не найти). На марс взобравшись, рискуя шеей, и силясь взглядом найти маяк, он обещает подвесить к рее матросов струсивших, как собак.

И по велению злого рока, (а может быть, вопреки ему), он видит остров, где стопы бога ласкают волны, обняв корму.

На пристани весело и шумно, кривые пьяницы пьют вино. И под мерцанием свечки лунной гуляют девушки в кимоно. Здесь вихрь грудастых портовых девок закружит головы морякам. В притонах истинно только тело, и губы к грубым прильнут рукам. По доскам шастают злые псины, воруя корюшку и кефаль. И разухабистые мужчины дают расслабиться кулакам.

Кабак «у Роджера» манит светом и согревающим камельком. Матросы с Марко, устав от ветра, заходят в теплый портовый дом. Внутри уютно, но вот что странно: вся публика, как одна, молчит. На чужеземцев плевать подавно, лишь песня сладостная звучит.

Серена Стивенс – красива, статна, пшеница – косы, глаза – лазурь. На сцене, около фортепьяно, поет про мир, что устал от бурь. И сладок голос ее, и нежен, как будто в уши вливают мёд. И плоть упругая под одеждой колыхается, призывает, ждёт. Как будто змеи в руках факира, все смотрят пристально на неё. И кровь вскипает, играет в жилах, и обращает мужчин в зверье.

И Марко ром поглощает жадно: мисс Стивенс смотрит ему в глаза. Ну, что ж – он скроен и сложен ладно, высок, ухватист, да и поджар. Когда последний аккорд стихает, девица манит, зовет любить. И он, команду оставив в баре, им завещает кутить и пить.

Но только Марко оставил место, кабак «у Роджера» затрясло. И пробудилась, восстала нечисть, и тьма накрыла своим крылом. Кривые пьяницы – вурдалаки, крик упырей разрывает тишь. Матросы прочь побежали в страхе.

Да как от дьявола убежишь?

Наутро Марко, спокойно спавший, обводит взором свою постель. Но нет Серены. Ну что ж, не страшно – ведь разум помнит сплетенье тел. На пристани – ни души, ни звука, ни псов бродячих, ни старых шлюх. Дома разбиты, раскрыты ставни, разруха всюду, весь остров глух. Кабак без двери, да и без окон, и занавески поела моль.

А на полу, на прогнивших досках – лежат матросы, да всюду кровь.

Исчез корабль, у причала – шлюпка, достаточно, чтоб суметь спастись.

«Ввязались в драку, продули судно! Украли, знать, да ищи-свищи».

И Марко вскорости отплывает, большие весла в руках держа. «Напасть какая, ну что за твари, зачем я только их подобрал».

Всё дальше остров, молочной дымкой его укутывает туман. И он становится тонким, зыбким, как будто сказка, мираж, обман. И только ветер сквозь лиги моря доносит голос, что чист, как лёд – поёт сирена, прибою вторя: «будь счастлив, Марко, судьба зовет».

А море пенится и искрится, будто откупоренное вино.

«А всё ж, была хороша девица. А этим пьяницам – поделом».

Ворон

Я черный ворон в черном небе, моя религия – свобода, меня целует свежий ветер, я пью испорченную воду. Я видел улицы Парижа, клевал каштаны в парках Кипра, со взмахом крыльев звёзды ближе, хвостом я задеваю липы. Весь мир открыт, весь мир прекрасен, когда глядишь из поднебесья, и я не знаю большей страсти, чем подниматься выше леса, и становиться черной кляксой на высоте десятков метров, где неразбавленное счастье – слагать мотивы птичьих песен, пусть голос мой сухой и грубый, пусть я распугиваю мошек, но вторят мне стальные трубы, и дождь стучит по твердой коже креста на маковке часовни, и разбиваясь о травинки, он будит мир, лениво-сонный, смывая мелкие пылинки. Как сладки полевые травы! Как восхитительны рассветы! Как солнце опалает жаром! Как нежен южный теплый ветер! Я черный ворон в черном небе, я сам себе и Тор, и Один. Я счастлив, будучи так беден. Но я богат, ведь я – свободен.

На кладбище заброшенных могил...

На кладбище заброшенных могил, что прячется в тени листвы густой, я прихожу набраться новых сил, я прихожу, чтоб обрести покой. Здесь сторожа кладбищенского дом, в пустых глазницах окон – темнота, прогнили стены и покрылись мхом, а на полу лежит портрет Христа. Повалены надгробия могил и мраморные ангелы без рук. Глядит с земли безносый херувим, печален, заунывен ветра звук. Лишь птахи мелкие здесь воплощают жизнь, да насекомые, снующие в траве, где по листу пахучей черемши ползет неутомонный муравей. Здесь тишина, лишь нежно шепчет лес, здесь выюн обвил могильные кресты. И черепа, лежащие окрест, спокойны, молчаливы и пусты.

Я прихожу с гортензией в руке, к одной могиле, что еще цела. Здесь девочка, покинувшая свет, совсем незрелой, маленькой была. Каким же был ее короткий век? Семь лет недолгих как она жила? Там были слезы, или все же смех? И от какой болезни умерла?

И я кладу цветок к ее ногам, ее единственный, усталый гость. Никто не бродит по таким местам, с родными она вечно будет врозь.

О, как же неприкаян сей скелет! Как страшно стать лишь прахом под стопой! Пройдут года, прогресс изрубит лес. Пройдут года, и в лес войдет живой. Все эти кости, всё пойдет в утиль: сомнения, желания, слова. Останетесь ли вы в сердцах людских? И упомянет ли о вас молва?

Страшнее смерти только лишь одно – забвение, ненужность никому. Когда вы – только пыль у чьих-то ног, а ваши лица канули во тьму.

Но спи, дитя. В моем саду цветы растут для позаброшенных могил. Я буду приходить покуда ты здесь есть, пока мне хватит сил.

И, запахнув плотнее свой пиджак, сигару раскурив, ступаю прочь. В траве утонет мой тяжелый шаг, следы на глине уничтожит дождь.

Но поздно вечером, ложась в кровать, я вопрошаю тени на стене:
хоть кто-то будет без меня скучать?
Хоть кто-то будет помнить обо мне?

Галатея

В те дождливые дни, когда лето идет на спад, когда воздух становится слаще, а вдох — длинней, городок превращается в босховский странный Ад, там, где черти встречаются в сумерках у дверей. В эти дни я как будто на время схожу с оси, становлюсь сумасшедшим, теряю контакт с Землей. Как крещенные льнут к кресту, так я льну к груди бездыханного тела статуи неживой. Но моя Галатея так дьявольски холодна, и не трогает ветер складки ее плаща. Неподвижная, бессердечная, как стена, я целую ее, истерически хохоча.

Вот большая Луна, проникает в моё окно, тянет пальцы к лицу, касаясь прикрытых век. Где кончается явь и начинается сон? — я не знаю, здесь времени скомкан бег. Голоса, что я слышу, исходят из самых стен, монотонным гудением, щелканьем языков. Так, наверное, чувствует каждый попавший в плен, ощущая на коже тяжесть стальных оков. Тьма из дальних углов обретает живую плоть, по-кошачьи крадется и льнет под пушистый плед. Голоса, что я слышу, велят мне кромсать, колоть, нужно спрятать скорей иголки за гобелен. Нужно спрятать ножи и куда-то убрать топор, пока искры сознания тлеют еще в мозгу. Я очнулся однажды, и был окровавлен пол. Что же в следующий раз я совершить смогу?

Мёртвый мрамор поет, я играю, не помня нот, черно-белые клавиши мучая и давя. Безразличны глаза ее и неподвижен рот, только рваные звуки бабочками парят.

О, замолкни, проклятая, не истязай меня! Что вело мою руку, когда я тебя создал? За закрытыми ставнями слышится шум дождя, голоса говорят, чтобы я отыскал металл.

Я хочу распахнуть окно и шагнуть в канал, и заполнить свой череп зловонной речной водой. Безупречные линии, плавный лица овал, мой шедевр опять насмехается надо мной.

Но спаси меня, Господи, (пусть это глупость, пусть!) но я стал замечать, что немеет моя рука. И всё тише и медленней сердце стучит о грудь, будто я превращаюсь в мраморный истукан.

В эти странные дни, перед пасмурным сентябрем,
я зову в дом священника, чтоб меня окрестил.

Неужели я стану статуей с ней вдвоем?

Неужели никто не сумеет меня спасти?

«Если я приглашу тебя на чай...»

Если я приглашу тебя на чай,
например, в следующее воскресенье,
или даже на свой день рождения,
скажи, что ты занята,

ведь тот, с сигаретой у рта,
что ждет тебя у подъезда,
одетый небрежно-дерзко,
источающий взглядом яд —

это буду совсем не я,
это буду уже не я.

Запомни: его сердце чернее ночи,
язык его остро заточен.
Он назовется моим именем,
но, пойми меня,
(но прости меня),
прикуривающий от огня —
это буду уже не я,
это буду совсем не я.

Может быть, любовь моя недостаточно сильна,
или виновата большая луна,
но некоторые превращаются из человека в зверя,
а я пробуждаю зверя внутри себя,

(но это не я,
это правда уже не я).

У него в шкафу женские платья и сумочки,
все в пятнах крови
(или вина из рюмочной?)
И пряди волос разноцветных,
мягких, шелковистых, смертных.

И фотокарточки из недр полароида,
изображения на них до того уродливы,
что меня стошнило вчерашним ужином,
и если бы их обнаружила, например, полиция,
то его (и меня) назвали б убийцей.

Не отвечай на мои звонки,
не подавай руки.
Не делай ему замечаний,
не приглашай на чай.

И да сойдет он с твоего пути,
не дай ему себя найти.

И если он постучит в твою дверь,
с ворохом (якобы) важных вестей,
не открывай дверь доктору Джекиллу,
который может быть мистером Хайдом.

Оставь в своей памяти только слайды
нашего светлого прошлого.
И пусть снежное крошево
накроет твой дом пушистым платком,
и сохранит до июля.

Люблю ли?.. — уже не знаю.

Но этот дрожащий,

корчащийся у огня —
это совсем не я,
это больше не я

Боже, храни короля

Боже, храни короля, так, как я никогда не умел.
От проклятий, воды и огня, и от острых вражеских стрел.
Если выйдет на смертный бой, тенью стань за его плечом,
Одари золотой судьбой, самым крепким и злым мечом.
Дай ему вороного коня, храбрых рыцарей, славных жен,
И спаси для него меня, пусть я ранен, пусть окружен.
Защити от худой молвы, от холодных, как сталь, речей.
И пусть мне не сносить головы, если этот король – ничей.
Королевство его – весь мир, его замок – вершины скал.
Его сердцу дай волчьих сил, дай душе – негасимый жар.
Дай мне вечно идти за ним, талисманом быть, быть щитом,
Укрывать от морозных зим, очищающим быть крестом.
Амулетом в его руке, ветром в спутанных волосах,
Отражением звезд в реке, желтой пылью в его следах.
Подарить ему сотни стран, выкрасть лучшую из принцесс,
Мой король не получит ран. Ведь теперь его рыцарь здесь.
Пусть дорога сводит с бедой, пусть сегодня он нищ и слаб,
Я его накормлю лебедой, на постель из еловых лап,
Уложу и укрою мхом, разведу для него костер,
Песнь спою про подводный дом и живущих в нем трех сестер.
Пусть изношен и грязен плащ, пусть истоптаны сапоги,
И пусть в каждой из темных чаш, преграждают нам путь враги.
Я – его верный щит и меч, острый нож и звериный клык,
Боже, дай мне его сберечь, за молитву прими мой рык.
Его речь – ледяной ручей, его облик суров и строг,
Защити короля королей, короля всех моих дорог.
От злой ведьминой ворожбы, от безумных и страшных снов,
От пустой и слепой борьбы, от тяжелых стальных оков.
Огради от меча и стрел, и прошу, защити от меня.

Ибо волей небесных тел, его смертью сужден быть я.

«Представь, однажды ты проснешься, а рядом – никого...»

Представь, однажды ты проснешься, а рядом – никого.
И только пьяное солнце нависло над головой.
Лучи – загорелые руки, к твоей обнаженной коже.
Исчезли цвета и звуки. И все это так похоже,
На тот пресловутый финиш, конец для всего живого.
Ты прочь одеяло скинешь, недобро помянешь Бога,
И бросишься прямо к окнам, распахнутым настежь ставням.
Ресницы от слез намокнут – след страхов забыто-давних.
Посмотришь – на улице сонно. И тихо. Так рано утром,
Бывает, выйдешь из дома, дрожа от предчувствий смутных.
Но нет случайных прохожих, нет шелеста птичьих крыльев,
И страх пробежит по коже, на легких осядет пылью.
Ты стиснешь сильнее зубы, ботинки найдешь покрепче,
До крови прокусишь губы, закинешь рюкзак на плечи,
И тенью скользнешь из дома, туда, где алеет небо.
Рассвет, распалённо-томный, рассыплется ржавым снегом,
Раскрасит загаром плечи, веснушками – нос курносый.
И чтобы вздохнуть полегче, отцовскую папиросу
Закуришь, и горьким дымом подавишься неумело.
От холода пальцы стынут, но ты неизменно смелой
Останешься до последней, решающей битвы с миром.
Как Элли сражалась с ведьмой, свирепой и злой Бастиндой,
Так ты будешь драться с ветром, кусающим больно кожу.
Искать без огня и света, все выходы из возможных.
Идти по своей дороге, где штурманом – звезды в небе,
Пока не устанут ноги, забыв о воде и хлебе.

А я докурю сигарету, последнюю в этой вселенной.
Развеет пепел по ветру, с востока потянет тленом.
Я буду как в «Гензель и Гретель», на землю бросать окурки —
Последним тебе приветом. Греть руки в карманах куртки.

И если нас только двое, и если мир мертв и душен,
Запомни, за смерть без боя, цена – в твою чистую душу.
И там, где уже не ловит, в сгоревшем дотла лесу,
В мобильном найдешь мой номер, не веря, что я спасу.
Но сквозь электронный гомон, сбив с Бога злорадную спесь,
К тебе прорвется мой голос:
держиcь,
я уже
здесь.

«У меня есть ручной дракон...»

У меня есть ручной дракон
/до чего банальный сюжет/.
Но он прилетает на мой балкон,
уже пару десятков лет.
У Дракона красивый хвост,
и клыки опасно остры.
Очень сложен и очень прост,
мой дракон с Ледяной горы.

Иногда мы просто сидим,
и на кухне пьем черный чай.
Я читаю ему стихи,
изливаю свою печаль.
Он качает слегка головой,
когтем мягко касаясь плеча —
что ему мой ребяческий бой,
битва на деревянных мечях.
Его шкура – единый шрам.
Сколько он одолел врагов,
покорил чужеземных стран,
огнедышащий сын богов?

Иногда, (это лучшие дни),
он берет меня полетать.
Я узнал, как красив этот мир,
как прекрасна небесная гладь.
Я хватаюсь за чешую,
/только руки дрожат слегка/.
Может быть, я его приют,
среди серых и старых скал?
Может быть он собрал во мне,
(словно я – это детский пазл),
память прошлых своих друзей,
чьи-то мысли, обрывки фраз.

И когда он становится тих,
и задумчиво смотрит в даль,
вспоминая тех, что найти,
невозможно, и очень жаль.
Я не пачкаю тишину,
чередой бесполезных слов.
Я не видел его войну,
да, и в общем-то, не готов.

С ним легко удастся молчать,
будто мы вместе прожили жизнь,
каждый день пили горький чай,
и считали огни-этажи.
Он не станет читать мораль,
/хотя и, на язык остёр/.
Но согреет, когда февраль,
и дыханьем зажжет костер.
И пусть все называют – чудака,
раз держу незакрытым балкон.
Я не против, когда вот так,
рядом спит мой ручной дракон.

В жаркой Флоренции...

В жаркой Флоренции знойное солнце, пляшет на крышах кирпичных палаццо. Бог был здесь раньше, теперь – не вернется. Ветер поет голосами всех наций.

Это случилось в две тысячи дцатом: мир превратился в толпу живых мертвых. Вирус с Востока, бегство богатых. Лиро маннаго пошли на охоту.

В мирное время волки скрывались, прятали шкуру под пиджаками, лишь в полнолуние с цепи срывались, в звездное небо вгрызаясь клыками. В мире немертвых легко и вольготно, что до людей – основная забота: выкроить толику кислорода, жалкую жизнь растянуть на пол года.

Лиро Ромео курит табассо, в пальцах кинжал, на ремне револьверы. Он потерял свою стаю и брата, /а по пути – еще, кажется, нервы/. Скроенный ладно, высокий и смуглый, только усмешка колюче-клыкаста. Спутаны ветром черные кудри, сталь его глаз холодна и опасна. Он убивает бесчеловечно, не задрожат, разя, его руки. Снова один, он один уже вечность. Рядом лишь зомби – проклятые суки. Где теперь сыщешь в Италии волка? Умерли все или скрылись в подполье. Нет и людей /да и нет от них толку/. Звук тишины отзывается болью.

Время к закату, рядом таверна, выпить бы виски из старых запасов. Дверь открывает усталый Ромео, /он прошагал за сутки миль двадцать/. Пыльная стойка, хвостатые крысы. И голоса... Черт возьми, здесь живые! Рвется Ромео, бездумно и быстро, к голосу, сквозь пелену серой пыли.

Брат и сестра (будто сшиты иголкой), двое детей человеческих, слабых. Бог им послал одинокого волка, бросил в когтистые, сильные лапы. Повесть из многих: ушли из Тосканы, мать и отец превратились в немертвых. Их имена – Исаак и Анна, / странное время, катись оно к черту/.

Анна – еврейка на половину, только шестнадцать, а сколько в глазах. Мертвая кровь иудейских раввинов тонет в горячих тосканских песках. Брат Исаак – молчаливый и тихий, десять ему, говорит односложно. В Анне сошлись все греховные вихри, нет красоты такой, злой, невозможной. В черных зрачках отражается пламя, свет зажигалки танцует на стенах. Хочет Ромео коснуться руками, кровь закипает и пенится в венах. «Что за проклятье – клыки все острее, красным глаза застилает туманом. До полнолуния еще неделя. Что же со мной? Будто бы под дурманом.» – думает волк. Жить во власти желаний он не привык, так какого же черта? Смотрит в глаза первобытные Анне. Что же мне делать с этой девчонкой?

Ночь заползает за стены таверны. И алкоголь пожирает рассудок. Жадно и дико целует Ромео, неодолимо влекущие губы. Одежда в клочья, /куда вырываться?/ Анна молчит, брат рыдает в каморке. Время считает:

четырнадцать, двадцать. /Проще иметь рядом сытого волка/.

Он виноват. И он это знает. Он виноват, и отныне – молчит. Не говорит и не подзывает. Грубый Ромео, отныне – их щит. Город оставлен за поворотом, толпы мертвых все ближе и ближе. Что до Ромео – одна лишь забота: их защитить, а получится – выжить. В ход идут пули, изредка – когти, острая сталь впивается в падаль. Анна, в изношенной шелковой кофте, спит у костра, сонно шепчет: «не надо». После кошмаров наступит забвение, но не прощение, не ободряющая.

Только порой, всего на мгновение, в этом безумии видится счастье. Вот Исаак улыбается робко: гроздь зеленого винограда несет сестре, ну а серому волку, даже улыбки хватит в награду. Анна готовит нехитрую пищу, дикие розы в косы вплетает. Так и живут странной жизнью трех нищих, месяц один и другой пролетает.

На сотый день все становится хуже, твари все ближе. Волк скалится хмуро. Анне Ромео бросает оружие: «вот револьвер, защищай свою шкуру». Анна боится, но все же стреляет. Через неделю справляется сносно. «Куда нам дальше?» – Ромео не знает. Он только волк. Просто монстр среди монстров.

Черной змеей тьма ползет по дороге. Ночь переждать в обветшалом сарае, хочет Ромео. Их бросили боги. Сено колючее кажется раем.

В три часа ночи все катится к черту. Двери на петлях скрипят и трясутся. Жадные твари, толпы мертвых, двери царапают, в стены скребутся. Выхода нет. Человеческий облик лupo срывает, сверкая клыками. Плоть раздрают острые когти, зубы как сталь, кости как камень. Пули свистят /научилась, чертовка/, кровь на лице и кровь на руках. В старом сарае сегодня два волка. Прошлое сгинуло в белых песках.

Ближе к рассвету драка стихает. Мертвое – мёртво, волк вновь человек. «Как ты там, Анна?» – Ромео зовет. Анна сидит, прислонившись к стене. Кровь на щеках и кровь на ладонях. След от укуса на тонкой руке. Нечем дышать и мир будто бы тонет. /Где этот Бог, когда нужен он, где?/

Анна кривит побелевшие губы, в пальцах холодных дрожит револьвер. «Станешь моим возлюбленным, лupo? После того, как за мной придет смерть.» Шепчет устало: «прости, amore». Пальцы дрожат, но спускают курок.

Над ветхой крышей кружит черный ворон. «Бог тебя учит. Плати за урок.»

*

В жаркой Италии знойное солнце, пляшет на крышах кирпичных палаццо. Бог жил здесь раньше, теперь – не вернется. Ветер поет голосами всех наций.

Небо Италии кличет тореро, комья земли скрипят на зубах.

Тихо шагает рядом с Ромео жалостью вскормленный сын Исаак.

Все беды от моря...

«Все беды от моря» — мне мать говорила. — «Всё горе от моря. Послушай, сынок, в нем есть первобытная, страшная сила. Там волны глотают горячий песок. Там песни сирен увлекут тебя в вечность. И голос их сладок, и страшен их крик. Там твари морские, глаза их, как свечи. Там старый «Голландец» — потерянный бриг. Поверь мне, сынок, искушать не надо судьбу свою, выслушай старую мать: вся жизнь обернется мучительным адом, для тех, кто не сможет от моря сбежать».

Я мать не послушал, не зная, не веря. Я видел лишь моря бескрайний простор. Где волны надсадно и сипло хрипели. И в скалы вгрызался полуденный шторм.

Мне было семнадцать. Наивный и глупый, не ведавший жизни, бездумный юнец. Я в волны врывался бесстрашно и грубо, пусть в море и умер рыбак мой отец. И жизнь была тихой, и мир вокруг — сонным. Но все изменилось в мгновение одно. Когда летней ночью, я, в море влюбленный, отправился, словно корм рыбам, на дно. Но вместо тяжелой и давящей глыбы, соленого вкуса холодной воды, в которой плывут серебристые рыбы, и тянет предчувствием скорой беды. Я кожей почувствовал тонкие руки, /нежна была хватка, но все же сильна/, и мир приглушил голоса все и звуки, и только на небе сияла луна.

Я выжил, я спасся. Я был спасен ею — русалкой, опасной. Сказаньям не веря, не чувствовал страха. Страх был бы напрасным: ундина была, словно вечность — прекрасной.

Она была небом, прозрачным и чистым. В ней было и море — чешуйчатый хвост. И я каждый день возвращался на пристань, и шел по ночам на разрушенный мост. Она говорила, я слушал, я верил: подводное царство и стаи медуз, морские чудовища, страшные звери. И губ ее, мягких и ласковых, вкус.

Шел месяц, другой, скучный быт позабросив, все дни проводил на морском берегу. Я знал лишь одно, знал ясно и просто: отныне я жить без нее не смогу.

«Но разве русалке быть с человеком? И могут ли люди жить в бездне морской?» — спросил я ее, но не зная ответа, сказала она: «отправляйся домой». Но завтра, и после, три долгих недели, я больше не видел любимой своей. Я думал, что брошен, и сердце болело. Сменялись картины обыденных дней. Но месяц спустя, ночью лунной и млечной, вдруг в дверь постучала ундина моя. Она обрела пару ног человеческих, свой голос хрустальный отдав за меня.

Мы свадьбу сыграли тихо и просто: ракушки на косах, да платье из льна. Но все же судачил наш маленький остров: «нема, да к тому же, сиротка она.» Но черту все слухи, плевать на вопросы. Я был очень счастлив, счастливее всех. Не знал одного /то, что ясно и просто/: что счастье не вечно, но вечен мой грех.

Я начал рыбачить, отцовское бремя на плечи взвалив, невод ставил, плел сеть. И время текло, безмятежное время. И в рыжих ее волосах пела медь. Мать скоро слегла, но безмерное горе, нам скрасила радость: наш первенец-сын родился, прекрасней, чем небо и море. Счастливее самой цветущей весны. Мы весело жили, без слез и печали. Я скоро забыл про русалочий хвост. Но моря сильны и губительны чары: заманит и скроет от неба и звезд.

Мы выбрались в город: торговля и лодки. Удача ко мне повернулась лицом. Возили провизию, порох и водку. Спустя пару лет я купил новый дом. Но часто жена выходила к причалу, глядела на волны со смутной тоской. И разве я мог этой радости малой лишить ее, грубо отправив домой?

И были то ветры холодные с моря, а может, то было проклятие вод. Но стала бледнеть и чахнуть от боли, со страхом встречая каждый восход. И сколько искал я врачей, чародеев, волшебников, лекарей, разных лжецов. Но все было тщетно. Лишь в лучшее веря, я был верным мужем и добрым отцом.

Мне знать бы тогда – то влекло ее море, манило к себе, как магнит тянет сталь. И шепотом волн звало за собою, все дальше от берега, в синюю даль. И прочь от меня, от сына и дома, она уходила, сгорая живьем. И утром туманным, безмолвным и сонным, она умерла, обернувшись дождем.

Над чистым заливом ее прах развеял, кляня всех богов и пролив свою кровь. Я знал лишь одно, неистово веря: пусть жизнь не вечна. Но вечна любовь.

*

«Все беды от моря» – мне мать говорила. – «Все слезы от моря». Послушай, сынок, дитя человека и глупой ундины, отдавшей свой голос за роскошь двух ног: не ведая горя, ты вырос счастливым. Отец твой – несчастный, с проклятой судьбой. «Все беды от моря» – мне мать говорила.

Но море навечно пребудет с тобой.

«Сентябрь. Третья неделя...»

Сентябрь. Третья неделя.
Не поддаюсь на провокации.
Нас нет.

Нас нет
на
самом
деле.
Всё вокруг – матрица.

Хьюстон, у нас проблема —
кончаются боеприпасы.
Я прячусь на подлодке Немо,
есть причины скрываться.
На поверхность нельзя —
зомби.
Зомби убивают друг друга.
/Я думал, нас не затронет,
но выкосило всю округу./
Питаются нефтью и газом,
деньгами
и
золотом.
Проклятая зомби-зараза.
[Запомни: стрелять в голову.]

Пытаюсь сохранять спокойствие.
[сбой системы:
спокойствие не сохраняется]
Господи,
Господи,
Господи.
спаси

меня,
спаси
м
е
н
я.

Октябрь. Вторая неделя.
Отшельник вызывает Хьюстона.
Немо умер, его отпели,
вместе с рыбами и моллюсками.
Перехватил радиограмму:
зомби идут на запад.
Стараюсь не жечь лампу,
/у керосина отвратный запах/.
Зато нашел сигареты,
представляешь – целую пачку.
Очень скучаю по лету.
Не плачу,
не плачу,
[не]
плачу.

Ноябрь. Двадцать четвертое.
Хьюстон, я кажется, спятил.
Всё катится, катится к черту.
И я к качусь тоже, приятель.
По радио – голоса мертвых,
и
тишина,
тишина,
тишина.
Мне снится полуденный Портленд.
И никогда
не снится
война.

Декабрь. Конец месяца.

До весны еще два. Не выдержу.
Три раза пытался повеситься.
Но вспомнил:
обещал, что выживу.
Немо оставил карты.
Навигатор – без перебоев.
Я должен доплыть до марта.
Должен.
Любой
ценой.

*

Хьюстон, не согласишься – я выжил!
Здесь такое солнце,
такое небо
и горы.
А если подняться выше,
то сможешь увидеть город.
Зомби сдохли от голода —
нефть иссякла, деньги сгнили.
Жалко только людей, которых
эти чертовы твари убили.
Но друг, я не собираюсь сдаваться,
нашел Джейн, она жива. Ты счастливый —
ей вчера исполнилось девятнадцать.
Твоя сестра очень красива.

И сейчас, стоя у твоей могилы,
(черный камень у радиовышки).
Хьюстон, я хочу сказать спасибо,
за то, что помог мне выжить.

«Я лес...»

Я лес.
Реликтовый
старый лес.
Ты слышишь? —
дышит моя листва.

Я звал тебя.
И вот ты здесь.

И вот ты здесь.
Живой
едва.

Ты бос и наг,
но ты —
нечист.
Ты с ног
до головы
в любви.
Измазан,
выпачкан
от корней.
Как в топи черной,
погрязший в ней.

Я лес,
я стар,
я видел жизнь.
Я видел тех, кто верил лжи:
десятки тысяч бедных душ,
шли в лес, чащобу, тьму и глушь.

Пробей ногами
чернозём,
стань деревом,
забывшим боль.
Я видел тех,
кто был влюблен.
Я принял всех
до одного.

Стань деревом.

Весь этот лес,
весь я,
все травы и цветы,
одно из самых
странных мест.
/я был таким же, как и ты./

*

Я волк.
Я старый, серый волк.
Молчи, молчи.
Слова — вода.
Я видел много. Что в том толк?
Мир сер и скучен, как всегда.
И этот лес, и все глупцы,
пожертвовавшие
собой.
Все звери, птицы и цветы,
и я и ты, весь свет — пустое.

Но двадцать дней тому назад,
мир вздрогнул, задрожала твердь.
Чужачка в чашу забрела,

словами растревожив смерть.
Она шагнула в темноту,
и лес сомкнулся за спиной.
Кровь из стопы текла, как ртуть.
Но в круг вошла, слилась с землей,
и поклонившись сырой листве,
воскликнула:
Лесной король! Верни его,
Верни ко мне!
Меня съедает эта боль.
Послушайте, цветы, трава,
услышь меня, Древесный бог,
я без него едва жива.
Верни его.
Верни его.

И лес завыл. И взвился вихрь.
И с неба рухнула вода.
«Прости.
Прости.
Прости.
Прости.
Я не вернусь.
Нельзя назад» —
шептала тихая ольха,
притронувшись своей листвой,
к ее губам,
к ее рукам.
«Придет весна, отступит боль»

Но смертной не понять слова
деревьев.
С шеи сорван крест.
Чужачки кровь была красна.
«Стань деревом» —
промолвил лес.

Я волк,
беззуб, почти облез,
не жажду пищи и воды.
Живя в лесу, несу свой крест.
Я был таким же,
как и ты.

«Господи...»

Господи,
я не верю в тебя.
Совсем не верю в тебя.
Но она говорила, что ты отвечаешь каждому.
И вот, я стою у врат твоих,
больное твое дитя.
Я не прошу огня, не прошу пищи страждущим.
Но если не будет ее,
значит – не будет меня.
Не станет мира, солнца, земли и неба.
Костров горящих,
дорог,
разморённого дня.
Все исчезнет.
Как будто
его
и не было.

Я был глиной под ее пальцами.
Был любимым.
«Не плачь по мне» —
говорила,
пела лунные колыбельные.

Господи, не дай мне сил.
Но дай мне немного времени.

По топям болотным пройду,
босой и незрячий.
По пескам пустынным
проползу ящером.
Я ищу ее. Ищущий да обрящет.
Я был глиной ее.

Видишь, следы на запястьях? —
так она держала руками,
ночью
кусала зубами.
Я — плоть от плоти ее.
Саламандра в ее пламени.

Шел три тысячи дватый.
Всеобщее сумасшествие.
Те же старые танки, безумцы в церкви.
Ее механическое сердце
стучало ровно и быстро.

Я был ее глиной.
Она была моим смыслом.

Я был ее рыцарем,
и, если хотите — любовником.
Самой опасной воительницы
двадцать седьмого округа.
Мы были неразлучны с детства —
бездомные Джейн и Джонни.
Слепленные из одного теста.
И никого
кроме.
Когда началась война,
она первой взялась за оружие.
Единственная не сошла с ума.
Единственная, кому я был нужен.
Она улыбалась,
и я пробивал стены,
челюсти,
ломал пальцы,
выгрызал зубами вены.
И поднимался.
Не страшась ни ночи ни дня.
Пока она улыбалась
только

для
меня.

И мне казалось,
/пусть это невозможно/,
что ее сердце билось еще быстрее,
под моей ладонью, осторожно
прижатой к ней,
лежащей в моей постели.

*

Господи,
я не верю в тебя.
Совсем не верю в тебя.
Но вот я у врат твоих,
и на шее болтается крест.
Ей осталось
дышать четыре дня.
Поэтому прошу:
забери меня,
вместо.

Лора

Стоны чаек, крикливых чаек. Бьются волны о днище лодки. Путь мой горестен и печален, ром холодный вливаю в глотку. Третий день проклиная море. Третий день без воды и пищи. Мой корабль ушел без боя. Капитан стал больным и нищим.

Лора, где ты? Ответь мне, Лора, скольким ты отравила души? Альбатрос – сизокрылый ворон, ищет падаль, зовет на сушу. Вновь закат отликает красным, голос смерти игрив и ласков. Море, слушатель беспристрастный, слушай сказку, чудную сказку.

Женщина и седой священник, попросились на борт в порту Севильи. Не откажет святому грешник. Только боцман сказал: «погибнем. Женщинам на море – не место». Я не верил сказаньям мертвых, путь неблизкий, Иисус поможет. Только все покатилося к черту. Не помог нам и отпрыск божий.

Был священник угрюм и страшен: тощий старец, плешивый череп. Говорил, дом оставил даже, чтобы с Лорой покинуть берег. Лора Уотсон – аристократка, англичанка, юна, прелестна. Отчего им пришлось несладко, не ответил мне падре честно. Что ж, и сам я не из болтливых, тайна тайной не зря зовется. Море пело и волны били. День клонился к закату солнца.

Вечер крался как вор-карманник, тьма по палубе шла неслышно. Наш корабль застрял в тумане, было слышно как море дышит. Переждем: грог, вино и карты. Скоро Бог нам протянет руку.

Я пошел созывать команду. Крикнул в тьму, а в ответ – ни звука.

Догорают в каютах свечи, и на кухне жаркое стынет. «Дьявол, час от часу не легче». Пуст корабль, как будто вымер. И священник исчез бесследно, к черту сгинули все матросы. Страх пробрался через одежду, /мне б согреться, да папиросу/.

Три часа – время разных тварей, я спустился в каюту Уотсон. Для чего – до сих пор не знаю, только помню – тянуло тросом. Что ж – ступил в темноту каюты: пустота, пахнет ржой и солью. Смех раздался в ту же минуту – Лора в платье, покрытом кровью, тянет руки и шепчет сладко, когти длинные впились в глотку. Я на палубу без оглядки, к черту все, и скорее в лодку.

Я оставил корабль в тумане, /как бы он мне и ни был дорог/. Где сейчас я плыву – не знаю. Видно, смерть свою встречу скоро.

Море смотрит глазами Лоры,
близко облик ее прекрасный.

Я умру,
и мы станем с Лорой,
корабельною страшной сказкой.

х

Говорят, что в году ушедшем, в наших водах был странный случай: двадцать первого, ночью вешней, плыл корабль (один из лучших). Будто бы, он застрял в тумане, ночь матросы проспали мирно. Но наутро, как только встали – капитана нигде не видно. Да исчезли два пассажира – девка и престарелый падре. Слушать надо бы старожилы: море место отнюдь не бабье...

«Баю-бай, мое сердце...»

Баю-бай, мое сердце.
Спи под корочкой льда.
Пустота по соседству, из крана бежит вода.
Это мёрзлые пустоши мертвой моей души.
Тише-тише,
не слушай,
не говори,
не дыши.

Тсс, мое раскаленное,
не бойся,
не бейся так.
В этом мире влюбленные
вечно шагают не в такт,
не попадают в ноты,
теряют дар речи и цель.

Новый год стучит в окна.
Но держит меня моя цепь.

Нет дверей в этой комнате,
нет никаких дверей.
Лишь решетки тяжелые
для самых опасных зверей.

Я как пёс одичавший,
ломаю хребет об металл.
Я искал свое счастье,
так долго его искал...

Я был создан в тридцатом,
очень тяжелом году.
Безупречным солдатом,
лучшим из двадцати двух.
Детище группы ученых,
новейший военный проект —
технически оснащенный
Робот —
чело
век.

Повстанцы изнывали от голода,
питались травой и падалью.
Я шел, и сносил им головы.
Головы
падали,
падали.

Но в каждом теле и тельце,
среди развороченных мышц,
я видел дрожащее сердце,
/я должен понять его смысл/.

Горячая, вязкая масса,
трепещущий, рваный стук.
Я был очарован красным,
стекающим с моих рук.

Я хотел узнать, допытаться,
почему я так сложен и прост.

«Отставить,
номер семнадцать.
Некорректно задан вопрос».

А утром, с одной из подстанций
поступил сигнал, парой фраз:
«нашли главный штаб повстанцев».

Я был переправлен в Канзас.

*

Ее звали Элли.
Эллисон-просто-Смит.

/Слышите, как ее имя
перекатывается,
горчит?/

Антрацит
и прозрачный лед,
обжигающе-смелый взгляд.
Я впервые увидел ее
по ту сторону баррикад.

Как же метко она стреляла,
пробивая мою броню.
Я не мог испытывать ярость.
Сталь не ведает этих чувств.

Но какой-то кривой механизм,
замыкание,
сбой систем.
И я не смог в нее выстрелить.
И убить ее
не сумел.

*

Одержимость.
Слабость.
Безумие.
Вам знакомы эти слова?
Да, конечно,
вы – люди.
Люди.

Я не знал.
И сходил с ума.

Словно падальщик,
рылся в трупах,
собирая десятки сердец.
Мысль бродила, бесцельно и глупо:
«Я хочу
такое
себе».

Мне везло.
И почти живое,
взял из Смерти костлявых рук.
Подключил к проводам,
/без сбоев/,
и слышал
дрожащий
стук.

*

Ее звали Элли.

Эллисон-просто-Смит.
Ее губы горели
под сталью моей руки.

Было утро четвертого.

Льется масло из глаз,
/вода?/

Я нашел ее мертвой.
Исчезнувшей.
Навсегда.

*

По одной из версий,
причина поломки —
любовь.

Баю-бай, мое сердце.
Спокойных тебе
снов.

«В послеобеденной чашке чая...»

В послеобеденной чашке чая
тонет красное яблоко солнца.

О таких чудесах
даже Майя
не мечтали.
Го
ло
во
ломка.

Я стою у огромной реки,
допивая дурманящий бханг,
ветер прах твой смывает с руки,
отправляя в священный Ганг.

Это очень хорошая шутка —
когда Шива разрушил мир,
он оставил меня в промежутке,
за четыреста тысяч лиг
от всего человеческого рода,
в этом странном мире меж миров.
Здесь зловоние, грязь на дорогах,
и религия ста языков.
Mohabbat – утверждает сердце.
Я любил тебя больше чем
– Землю?
– мать?
слишком много версий.
Не успел.
Не успел.
Не успел.

Лейла, я твой Каис, безумец.
Не оставь меня, не покинь.
Память гонит с базарных улиц,
в жерло самых пустых пустынь.

Я прошел от Каира к Пуне,
глядя, как умирает мир.
Там молились Аллаху,
здесь Сурье.
Но никто
не молился
любви.

Отрицая богов и пророков,
я встаю на колени.
Песок
обжигает.
Любовь больше Бога
весит на моей чаше весов.
Отвергая хорей и ямбы
я пишу на ладонях тебя.
Пусть не рядом.
Но так
хотя бы,
ты становишься частью меня.
Они кличут меня Маджнуном,
сумасшедшим поэтом пустынь.

«Будет так» – повторяют губы.
«Не оставь меня, не покинь».

Нет стихов. Нет поэм и песен.
Заклинания – вот мой труд.
Умоляю, воскресни.
Воскресни.
Даже если все люди умрут.

*

В послеобеденной чашке чая
тонет красное яблоко солнца.
О таких чудесах
даже Майя
не мечтали.
Го
ло
во
ломка.

В пунарджанму верят индусы.
Если прах принимает Ганг,
ты родишься,
и наши души
смогут встретиться.

Берега
расступаются.

Ты любила.
Я любил.

Значит, мы не мертвы.

Ухожу, оставляя миру
три последних своих строфы.

«Когда ночь проливает чернила с небес...»

Когда ночь проливает чернила с небес,
быстрый шепот часов вдруг становится
сердце
биением.

Мы с ней тихо уходим в наш тайный лес,
оставляя высоты, отчеты, сомнения
за спиной.

Под тяжелыми волчьими шкурами,
прячем скованность,
неуверенность,
мишуру.
Ее порванный свитер, склоки с коллегами-дурами,
мой провальный проект, в кармане большую дыру.

Мы идем по лесной тропинке,
сбежав от суетного,
кисло-сладкие ягоды бросая в рот.
Мы совсем не любовники, не безответные.
Просто важные люди.
Люди похожих пород.

Она вертит в руках зажигалку,
костер испуганно
загорается,
танцуют во тьме светлячки.
Я читаю ей сказки, красивые, умные,
чуть заметно касаясь ее руки.

Нежно ветер щекочет деревья,

играет музыка.

Леший пляшет с наядами возле речной воды.

Все, что мы создаем, становится нашими узами.

Вот стежок – это «я».

А второй – это «ты».

«Я и ты».

Она смотрит в глаза, и сбивается

сердце

биение.

Мы уходим из леса, в неоновый свет огней.

Принимая высоты, отчеты, сомнения.

Двое сильных волков под шкурами слабых людей.

«Я помню...»

Я помню:

она снимает очки в широкой оправе,
глаза подводит
черной, как тьма, сурьмой.

А я отравлен,
растравлен,
стравлен
с самим собой,
с проклятой своей судьбой.

Она снимает пиджак и джинсы,
бросает в костер кружевное белье.

А я смотрю через мутную линзу
тумана серого,
на
неё.

*

Однажды она предложила угнать автобус.

Обычный «Икарус»,
идуший в посёлок Н.

Взяла настольный светильник-глобус,
сказала: «давай убежим от проблем».

Угнали.

Поехали по дороге
проселочной.

Автобус заглох в пути.

Оставили его возле убогих
домишек,
а сами решили идти.

Мы шли через лес, неземной и странный,
касаясь арюнкама шершавых голов.
Я целовал ее губ открытую рану.
Я думал, что это и есть любовь.
Мы возвращались домой на попутках,
смеясь, и слушая старый джаз.
И сердце билось быстро и гулко,
как будто
в самый последний
раз.

*

Я помню:
она танцевала на раскаленных углях.
Раскаленные угли плясали в моей груди.
И были губительны ее губы.
Но убивало то,
что так жгло внутри.

*

Однажды она предложила поджечь квартиру.
Сказала: «давай уничтожим всё,
что здесь существовало, любило, было,
готовило завтрак, читало Мацуо Басё».
Я взял в руки спички,
/какого-то черта/.

Сгорела квартира, выгорел целый этаж.
Обошлось без особых жертв. Только мертвой
нашли старушку из пятой, а рядом – ее кота.

Так я стал убийцей. Пусть, в общем-то, косвенно,
но мысль мучительна и страшна.

Я был плотью ее, я был ее костью.

Через сотни ночей
в город пришла весна.

*

Она пила мою кровь. Серьезно.
Есть ведьмы, вампиры,
почему нет?
Я подставлял ей шею, глядя на звезды.
Она пила мою кровь.
Я глотал
лунный
свет.

*

Я помню:
ее голова катилась
по полу,
трещал и скрипел под ножовкой хребет.
Я пронзил ее сердце осиновым колом,
вогнал под кожу острый стилет.
Я сжег ее тело. Но череп оставил.
В нем мирно покоится ее прах.
Я был исключением из ее правил.
Я был?
Конечно же, я был прав.

Но каждую ночь, за закрытой дверью,
мне тяжело и страшно сжимает грудь.
Она сидит на моей постели.
Как будто живая.

И не дает уснуть.

«Станция Хибия, Токио...»

Станция Хибия, Токио.
Поезд точно по расписанию.
Она сидит у окна, в белом свитере крупной вязки.

«Осторожно: двери открываются небесами»,
ровно в восемь пятнадцать.
В наушниках шепчет джаз.

Она держит в руках книгу, (катакана, три иероглифа).
Как всегда – очень умную,
как всегда – непонятную.
За окном пробегают столбы, провода и домики,
облака в форме сладкой сахарной ваты.

Как хотел бы я с ней встретиться
глазами,
словами,
пальцами.

Ровная черная челка, ямочки на щеках.
Длинная юбка в клеточку, браслеты на тонких руках.

«Сегодня точно возьму ее номер»,
/сталкиваемся глазами/
поднебесная Ками, любой станет в нее верующим.

«Осторожно: двери закрываются небесами»

Я поднимаюсь,

и выхожу
на
следующей.

*

Станция Хибия, Токио.
Поезд точно по расписанию.
Она сидит у окна, в белом свитере крупной вязки.
Полупрозрачна.
Сквозь нее видно грани
монохромного города, потерявшего свои краски.

Я узнал: семнадцатого, два года ранее,
здесь погибла девушка, бросившись под состав.
Двадцать два. Судзуки Икуми (так ее звали).

/болит каждая клетка, ноет каждый сустав/

Поезд-призрак отходит с пустой платформы.
Мертвые смотрят сквозь.
Заняты все места.
Скоростной состав теряет облик и форму.

А в груди тихо-тихо,
и сладко
поет
пустота.

«У порога топталась война...»

У порога топталась война.
Небо жаждало чистоты.
Не успел убежать, столкнувшись с войной в дверях.
Надевая солдатский сюртук, снимаю кресты.
Если веришь в Господа, кровь проливать нельзя.
Поезд в восемь пятнадцать.
Швеция. Стокгольм.
Мы уходим,
оставив женщин и дочерей.
Только в этом поезде я встретил свою любовь.
Обернулся голубем,
и отправился
вслед
за ней.

Пишет: «милый Джон,
здесь, в Кливленде, снова дождь.
На промокшие ветки слетаются воробьи.
Я молилась святой Марии,
я верю —
ты не умрешь.
Я храню твое сердце. Оно стучит у меня в груди».

Я сижу на земле, сжимая в руке письмо.
Этот жалкий клочок бумаги —
мой крепкий железный щит.
Я бессмертен, пока эти буквы со мной.
Окружают меня своим войском,
и каждое слово
горит.

Пишет: «Джон, сегодня был страшный день.
Поступил пациент — практически не жилец.

Так похож на тебя – было больно смотреть.
Потерял много крови, и все хватался за крест.
Умер после полудня, (как сотни таких же до),
но мне было так тошно, трясло, будто бил озноб.
Обещай, поклянись, что вернешься ко мне живой.
Я люблю тебя, Джон.
И верю в твою любовь».

Нас отправили в дебри, здесь сырость, туман и холод.
Говорят, здесь был город, теперь – одинокий храм.

(Говорят, что каждый, кто был тебе дорог,
уходя, оставит на сердце шрам).

За плечами висит ружье, словно крест Иисуса.
После первого трупя блевал.
Теперь попросту наплевать.
Перекатываю в пальцах ее янтарные бусы.
Она – единственное,
за что следует
воевать.

*

Она больше не пишет.
Неделя идет за неделей.
Расстояние в тысячу миль,
из артерий бегущая кровь.

Кто ответит мне,
что отвратнее и страшнее? —
бросить свою Родину,
или предать любовь?

*

Дезертиру непросто пробраться в город.
Этот проклятый Кливленд охвачен войной.

(Говорят, что каждый, кто был тебе дорог,
обязательно повернется к тебе спиной.)

Старый госпиталь, взорван кусок стены.
Враг, как крыса, заполнил каждый район.

[только если бы не было,
не было
этой войны,
мы бы жили у теплого синего моря.
Жили
вдвоем]
На дверях подвала – решетки. Дежурит охрана.
Все врачи и медсестры, загнаны в угол, как псы.
Раскаленная сталь вылетает из глотки нагана.
Ее жизнь, как ошметок мяса, положена на весы.

Смерть стоит за спиной, подает патроны.
Шепчет тихо и сладко: «я верю, ты не умрешь».
В голове, на повторе: «не тронут ее, не тронут».
Только эхом от стен отлетает:
«все это – ложь».

*

Здравствуй, призрак,
испуганный и дрожащий.
Пальцы в ссадинах, царапина на щеке.
Я нашел тебя, отыскал в плену,

мое счастье.
Посмотри на меня.
Подойди ко мне.

Враг уже у двери.

Царапает шкуру пола
выскользнувший из пальцев огрызок чеки.
Пахнет хлоркой. И газ разъедает горло.
Нудной ноющей болью сжимает виски.

Досчитай до пяти.
И закрой глаза.
И пусть дикие звери сжигают Нью-Йорк и Рим.
С тихим скрежетом падают небеса.
А мы держимся за руки.

И горим.

Мартин и Марта

Ветер срывает листовки и шарфы, пальцы изъела соль. Мартин шагает по линиям карты, город ведет за собой. Нет в его сердце печали и боли, нет в его сердце лжи. Только соленое синее море бьет о канаты жил. Ноги высоток промокли в лужах, тучи играют рок. Каждый, кто слышал: «ты мне не нужен», да сохранит тебя Бог. Каждый, деливший постель и сердце, каждый, кто чувствовал боль, каждый, чьи раны натерты перцем, Бог с тобой, Бог с тобой.

Мартин идет, сапоги его пыльны, куртка в песке и золе. Он был когда-то красивым и сильным, самым живым на Земле. Он ненавидел чай и корицу, но он любил ее. И потому – упрямо давился вкусом ее чаев. Он ненавидел попсовые песни, книги Бронте, запах свеч. Только на кухне, сидя с ней вместе, слушал Big Time C. C. Catch. Он целовал ее рыжие косы, выкрасил стены в лазурь. Бросил курить свои папиросы и полюбил июль. Богу подобен добро творящий, счастлив дарящий любовь. Время – огромный реликтовый ящер, тянет, ведет за собой.

Вот майор Том пролетает над крышей, передает привет. Шарик Земной, никогда не любивший, солнечный ловит свет. Мартин подходит к ее подъезду, тысячу лет спустя. Каждый, во тьме потерявший надежду, Боже, храни тебя. Пыльные окна, герань, занавески, и голоса живых. Марта сидит в бамбуковом кресле, узел волос седых, платье в горошек, домашние туфли, спицы дрожат в руках. Взрослая дочка хлопочет на кухне, возятся внуки в ногах. Верный супруг наблюдает с портрета, зять в семь придет домой. Каждый дюйм дома заполнен светом, каждый кирпич – живой.

Мартин стоит, к стене прислонившись, слезы – бездонной рекой. Каждый, однажды навек полюбивший, Бог с тобой, Бог с тобой. Мартин вздыхает – в квартиру, без стука, тихо заходит Смерть. И говорит монотонно и глухо: «сделать ее твоей? Век ее скоро придет к финалу. Что значат пара лет? Ты, получивший от жизни мало, знавший боль горя и бед, мертвый давно, и в загробном мире станет она твоей. Та, что тебя никогда не любила, и изменила тебе».

Марта, закутавшись в теплую кофту, гладит кота по спине. Ноготь на пальце, неправильно-желтый, родинка на щеке. На лоб упавшая белая прядка, чуть искривленный нос. Запах духов, апельсиново-сладкий, с тонкой иллюзией роз. Не наглядеться, не прикоснуться – пальцы проходят сквозь. «Вот бы закрыть глаза, и проснуться, в мире, где мы не врозь».

Ветер со свистом врезается в окна, стонет земная твердь.
Мартин бесшумно отходит к порогу.

И прогоняет Смерть.

«Я столкнулся с ней в середине холодной зимы...»

Я столкнулся с ней в середине холодной зимы,
(так когда-то Титанику встретился айсберг).
Не зарекайтесь от болезни, тюрьмы и сумы.
И от любви, пожалуйста,
не зарекайтесь.

В ее черных глазах плескалось ведьмино пламя,
и у губ ее был соленый кровавый вкус.
Но вела себя женственно, словно индийская рани,
(в этом был ее самый заметный плюс).

Среди прочих банальных нежностей и люблю,
у моей Джульетты было немало странностей.
Мы встречались сто дней (если верить календарю),
но в мой дом она переехала почти сразу же.

Все ее статуэтки, конфетки, оборки, духи,
заселили мою холостяцкую голую площадь.
С ней пришел черный кот (а я ненавижу их),
отвратительный чай и занавески в цветочек.

По ночам она всегда просыпалась в три,
объясняя сей странный обычай бессонницей,
без наушников слушая чертову «Devil's Trill»,
и я ждал, пока мерзкая музыка кончится.

Я устал от нее очень скоро (месяца через три),
задохнувшись от мармеладно-медового смрада.
Разъяренная, злая, как черт, кричала она: «Умри!,

Проклинаю тебя! Пусть твоя жизнь станет Адом!»

Уходя, она подарила мне золотые часы,
на цепочке,
как будто бы в знак примирения.
И оставила адрес.
«Если захочешь ты,
приходи в этот дом,
я встречу тебя, без сомнения».

*

Я не помню, сколько женщин было после нее,
как не помню их лица, фамилии и приметы.
Ветер шапки срывал, трещал под ногами лед,
я шагал через город, лицо закрывая от ветра.

Помню, был одинок, простужен был тяжело,
и я вспомнил о ней,
так скоро мне надоевшей.
(Может быть, любовь, как дорогое вино —
чем старее она, тем благородней и терпче?)

Прибыл затемно, стоял особняк под луной,
лес вокруг, высокие сосны и ели.
Посмотрел на часы,
(было двенадцать ноль ноль),
постучал пару раз,
и открыл деревянные двери.

*

Дом был пуст. Покинут уже давно.
Паутина в углах, картины, поросшие пылью.

И повсюду портреты.
Портреты ее одной.

Сумасшествие.
Словно дешевый триллер.

Я хотел возвратиться,
но дверь была заперта.
Как и окна,
не вскрыть и не выбить стекла.

«Значит ведьма,
проклятая ведьма она.
И я бросил ее, обидел,
подругу черта».

И во тьме, на потрескавшихся зеркалах,
запылали кровавые буквы, алым на черном:
«Когда время на подаренных мной часах,
остановится,
любимый, ты будешь мертвым».

*

Я пишу эти строки и руки мои дрожат,
и мои оголенные нервы словно взбесились.
Потому что
в три ровно,
пару секунд назад,
эти проклятые часы
остановились...

Анн-Мари

«Дорогая моя, незабвенная Анн-Мари, я пишу тебе снова, марая чернилами лист. В этот пасмурный город врезаются корабли, и по улицам темным плывет сероглазый mist. Здесь глотаешь воздух и чувствуешь океан, всюду сырость и грязь, и рыбы гниющей смрад. Каждый встречный прохожий хмур, каждый третий – пьян, а ночной городок и вовсе похож на Ад.

Я закончил учебу, отправив диплом отцу. Здесь, в убогой газете, пустые пишу статьи. Наш редактор похож на озлобленную лису, а помощник его – плешивый лесной сатир. Этот город прогнил, (как впрочем, и вся Земля), здесь священник пьет виски у входа в дешевый бордель. А по улицам сонным бродит безумный маньяк, убивая безжалостно, женщин и даже детей. Здесь пустынно и жутко, и страшно ловить такси, тянет спрятаться в тень от желтого взгляда фар. Потому и пишу тебе, милая Анн-Мари. Ты – мой луч в царстве тьмы, маяк среди острых скал.

Знаешь, я получил письмо неделю тому назад. Твой жених богат и умен, для полсотни – свеж. Я хотел бы сказать, что я очень и очень рад, но в груди скалит зубы порочный и злобный бес. Я не ровня тебе, не ровня твоим деньгам. И твоей красоте, невинной и неземной. Повторяю по буквам, по звукам и по слогам: «мне обещанная станет чужой женой».

Я хочу сказать, что люблю, и что грешен, как черт. И что мне очень жаль. Что мне несказанно жаль. Ты прости мою слабость, и сможешь – пиши еще.

Вечно верный тебе Александр.

Целую. Прощай».

*

Дорогая моя, безупречная Анн-Мари, (запираю в конверт неотправленное письмо), за окном расцветает удушливый розмарин, в моей маленькой комнатке пасмурно и темно. Ветер легким касанием гасит пламя свечи, огонек сигареты ничтожен в нависшей тьме. Мои руки дрожат и сердце стучит. Стучит. На ладони монетой танцует живая медь.

Надеваю пиджак и делаю шаг за дверь. Три квартала пешком, по каменным мостовым. Может я сумасшедший? А может быть, просто зверь? Укоризненно смотрит луна. Выдыхаю дым. Эта девушка слева, (приколота роза к груди), в шляпке цвета кармина, так поздно идет одна. Она очень похожа, похожа

на Анн-Мари.

Между ребер танцует восторженный Сатана.

Этот город прогнил, (как впрочем, и вся Земля).
Есть в безумии счастье. А в разуме – только ложь.
Я врезаюсь затылком в блестящую ширму дождя.
Захожу в подворотню.
И вынимаю нож.

«Я был знаком с человеком...»

Я был знаком с человеком
красоты поразительной и неопиcуемой.
В нем сочетались Будда, Иуда и Яхве.

Если хочешь, я для тебя его нарисую.
Помню,
он стоит босой да в одной рубахе
и улыбается,
так ласково и безмятежно,
и в его серых глазах загораются огоньки.

А я,
потрепанный,
прокуренный,
грешный,
стакан со святой водой
беру из его руки.

Иногда, он приходил ко мне в образе Господа.
Спрашивал:
«как твое сердце, сын мой,
не ранено? Не болит?»
Говорил так легко, бесхитростно и просто.
И только качал головой,
когда я в ответ дерзил.

Иногда он становился Буддой,
спокойным и мудрым.
Разжимал мои пальцы и забирал кинжал.
Осыпалось небо белой сахарной пудрой.
Я сатанел от крови.
Он успокаивал, держал.

Помню, я обрил голову,
и пошел к нему,
каяться.
Ступнями босыми, голыми
за камни цепляясь,
забрался на вершину,
на вершину этого мира.
Он сидел спиной, со знакомой нестриженной гривой,
и арабскими цифрами,
на предплечье выбитыми.

И мне показалось, что сердце замирает и стынет.
И что он мне родной, как отец или кровный брат.
И пока он со мной, мне нельзя умирать.
Никогда нельзя умирать.

А потом наступила зима, я был болен простудой,
и Большая медведица уснула на ложе из льдин.

Он сидел у моей постели,
(ну точь-в-точь Иуда),
говоря еле слышно: «прости, но я должен уйти».

Я был знаком с человеком
красоты поразительной и неопишуемой.

Нет, не красивей тебя.
Совсем не красивей тебя.

Если хочешь, я тебе его нарисую.
Поверни лицо к свету, не двигайся где-то час.

Я искал четыре столетия.
Четыре безумных столетия.
На груди отмечая
каждый прошедший год.

Я нашел его,
возрожденного прекрасной женщиной.
Совершенной женщиной,
не помнящей
ни
че
го.

Вот она называет меня Буддой, Иудой и Яхве,
братом, соратником, другом и мудрецом.

А я стою перед ней,
босой да в простой рубахе.
Красками на холсте
рисую
его
лицо.

Луна и корень мандрагоры

Луна и корень мандрагоры, толченый стебель чабреца. Я прячусь, как безумный Голлум, в тени скалистого крыльца. Всё то, что раньше было сказкой, фантастикой, кошмарным сном, сегодня стало настоящим, финал, предел, Армагеддон. Взять револьвер из чемодана, стащить ножи из гаража. Вода лениво льет из крана, и фляжку наполняет ржа. Мне бы сейчас призвать дракона, и меч хотя бы световой, но звезды падают с балкона, по улицам идет конвой. Готовлю зелье неумело и примус жалобно шипит. Не доверяя револьверу, я заряжаю дробовик. Охота на творящих чудо, на создающих огонь, обычная людская глупость, чудовищный программный сбой. По улицам бегут Алисы, за Шляпником спешит Чешир, всем сказкам снова пробудиться, солдатам всем занят посты. Бедлам, бардак, идут на танки валеты червовых мастей. А я, с дурацким школьным ранцем, бегу по камешкам аллей. Пусть я обычный, не волшебный, и в общем-то, не знаю тайн, но лучший друг обычной ведьмы.

И я иду тебя спасать.

Луна и корень мандрагоры, толченый стебель чабреца. Я буду ждать тебя за школой, в тени трехмерного дворца. Сегодня ночью полнолуние, по телу пробегает дрожь. Вдыхаю воздух полной грудью, (ну, тише, тише). Ты идешь. Вся резкость скул и хлесткость пальцев, походка маленькой лисы, (эй, слышишь, сердце, не влюбляйся. Да не влюбляйся! Слышишь, ты!) Ладони жгучи, как медузы, в зрачках нагая пляшет Маха, на револьвер, как камни, грузный, глядишь ощерившись, без страха. Я твой Орфей, ты – Эвридика. И дико хочется тебя, толкнуть, напасть на тебя вихрем. В вихри твои, в цветную прядь, вцепиться, дьявол близорукий, коротко стриженный, смешной. (Сейчас не время, слышишь, глупый? Сейчас не время про любовь). Вся угловатость, подростковость и опытность кривого рта, так колу смешивать с ментолом, нельзя, но тянется рука. «Пойдем», – звучит немного хрипло, и грубовато, если не, но слепо подчиняясь ритму, ты топчешь первый мягкий снег. Скорей, сперва покинуть город, угнать какое-то авто, тьму разрезают метеоры, по коже пробегает ток. Вот с топором шагает Элли, и Гудвин на передовой, а Храбрый Лев опасным зверем, упрямо рвется в ближний бой. В лесах еще горят порталы, пора сбегать в волшебный мир. И до границы нам осталось часов двенадцать как идти. Ты смотришь искоса и странно, колдуешь маленький огонь, прижав ладонь к саднящим ранам, и пальцы к шраму над губой. Глотаешь сваренное зелье, и кривишься, наморщив нос. Но мне становится теплее, и я сильнее сжимаю нож. Сражаться с рационализмом и с отрицанием чудес, я, в общем-то, не вижу

смысла, (пусть даже смысл в этом есть). Броня их мозга из титана, непрошибаема, крепка. Спасайтесь, покидайте страны, ищите лучшие места. Да, мир без чуда станет скучным, без сказок здесь погаснет свет. Но вам, волшебным, даже лучше – в каком-то смысле это месь. Пускай толпа безмозглых зомби шагает от рожденья в смерть, они сотрутся, их не вспомнят. А вы навечно, крепко здесь.

Скорей, быстрее беги к порталу, не нужно, не смотри назад. Но я, хронически усталый, ловлю твой очень грустный взгляд. Ты моя первая любовь, любовница, мой медный грош. «И я вернусь», – бормочешь, «скоро», а я в ответ бросаю: «врешь».

Я остаюсь в затихшем мире, подсчитывающем урон, в обнимку с жалящей метелью вхожу в застывший, сонный дом. Забросив дробовик на полку, напившись чая с чабрецом, надев помятую футболку, бросаю мозг в лечебный сон.

Как жаль, что я не суеверный, но в ночь Самайна жгут костры, и скачут на предел нервы, и воздвигаются мосты. Я не любитель обещаний, и точно проще отпустить. Есть год дурацких ожиданий, и сердце жалобно скулит. Луна и корень мандрагоры, в ладонь вонзаю острый нож. Я буду ждать тебя за школой.

Но ты, конечно, не придешь.

«Арджун – темнокожий чистильщик обуви из Раджастана...»

Арджун – темнокожий чистильщик обуви из Раджастана.
Он странно
поход на одного известного актера.
Невысокий, но приятный.
И сложенный ладно.
Носит дхоти и небольшую бороду.

Арджун жует бетель и смотрит на солнце.
Солнце
красит его кожу
в горько-шоколадный
цвет.
Он думает: «а что, если мир перевернется?
Было бы интересно
на это
посмотреть».

Мимо идет нарядная Гаятри,
дочь богатого землевладельца.
У Арджуна к ней небольшое дельце.
У него от нее
кровь закипает в сердце,
и переливается
через край.
Он бьет кулаком в грудь: «не умирай, не умирай».
«Ай!» —
Гаятри задевает его косицей,
и от запаха волос ее он чувствует себя принцем,
раджой.
И заставить ее в себя влюбиться,
отныне – дело принципа.

Он начинает работать вдвое усердней.
Покупает ей браслеты, сладости и сари.
И через сорок четыре рассвета,
Гаятри тает.
Так, говорят, тают снега в Кашмире,
в Канаде и в Сибири.
И в целом огромном мире
нет никого Арджуна счастливей.

Но ее отец,
богатый землевладелец,
против
бедняка, жующего бетель и носящего дхоти.
Он нанимает бандитов, за несколько сотен.
И они ловят Арджуна в подворотне,
ломают ребра и восемь пальцев,
и бросают в колодец,
мол – охлаждайся,
высокомерный влюбленный уродец.

А на шею Гаятри
хочет повязать тали,
жених,
богатый, но очень скверный
старец,
своими морщинистыми руками.
И Гаятри
кинжалом вскрывает
вены.

А Арджун возвращается через полгода.
Живой, но хромой и в одежде ободранной.
Отрастивший длинную бороду,
с глазами безумными и голодными,
он кричит: «где Гаятри? Гаятри!»,
и от его криков разбегаются псы и детвора.
И только один ослепший старец,

говорит: «сынок, твоя Гаятри
у
м
е
р
л
а».

И Арджун создает механического Шиву,
вооруженную трезубцами машину.
И чернокожую Кали, с четырьмя руками.
И вот, они стоят втроем на Тадж-Махале,
а он все бормочет:
«Гаятри, Гаятри».

Через шесть месяцев и три рассвета,
города нет.
Нет страны.
И нет
планеты.

Нет людей,
но зато много яркого света.
Затихли ружья и ракеты.
И повсюду лето.
Цветущее жаркое лето.

А Арджун лежит на цветочном поле.
Рядом мать его старая плачет.
Шива и Кали вышли из строя,
масло течет, гайки по траве скачут.

Над головой его бабочка пролетает,
солнце кожу целует и плавит.
Он вспоминает,
как Гаятри на танпуре играет,

открывает глаза,
улыбается.

И
умирает.

В разноцветном Шанхае...

В разноцветном Шанхае, где льется искусственный гул, под оранжевой чашей фонарного света, господин Цзяо Линг с восходом встречает весну. Весна одета в ханьфу белоснежного цвета, ее черные волосы собраны в тугой пучок, и на них расцветают бутоны изящных магнолий. Чуть заметный румянец касается нежных щек, ее стан под одеждой гибок и строен. Вот она говорит, и словно звучит гуань. В ее тихом, почтительном «здравствуйте» слышится сила. Она смотрит покорно, как будто безмолвная лань. Ее вечная юность щемяща и очень красива.

Господин Цзяо Линг готовит ей желтый чай, в керамической чашке — изысканный вкус рассвета. Так у них повелось — он выходит ее встречать уже семьдесят лет, певчих птиц выпуская из клеток. Лингу семьдесят восемь, он стар, худощав и сед. Но еще молодцом, как сказал бы один из внуков. Он живет здесь один, и редко включает свет, погруженный в раздумья и чтение, чувствуя скуку.

Он встречает весну, потому что другим все равно. В этот век суматошный, все люди торопятся к смерти. Здесь отвыкли дышать полной грудью, открыв окно. Здесь отвыкли молиться природе, не идолам в церкви.

Если нет никого, кто бы вышел за свой порог, поклониться весне, пригласить ее в сонный город, то она отвернется, исторгнет печальный вздох, и весь мир погрузится в отчаянный холод. Линг встречает весну, потому что она нужна. Его детям и внукам, всем людям и каждому зверю. Он берет ее за руку, тихо подводит к домам, в предрассветном тумане стучится в закрытые двери. Он ломает замки, выпуская на волю птиц. Песни их о тепле и о радужных грезах. Ветер всюду разносит частицы целебной любви, утоляя печали и горести, жажду и голод.

И старик ощущает себя молодым. Нет оружия, смерти, войны и пороков. Пробуждаются травы, деревья, цветы.

И весна улыбается, радостно и широко.

*

Вот закончился век, торопливо сменившись другим, зачерстевшим, стальным, электронным. Старый дом, в котором жил господин Цзяо Линг, был снесен, и пустырь тот залили бетоном. Всюду роботы — красят стены, готовят еду. Люди редко выходят на улицы — мир виртуален. Нет цветов и деревьев,

природы неясный гул с каждым годом становится тише, скрипит, угасает.

Но за городом, на поле голом и неживом, каждый год одинокая яблоня расцветает. В век металла она – как мираж, словно сказочный сон, будто памятник вечно прекрасному маю. И всего раз в году, когда в горы уходит борей, здесь является призрак, и снег под стопой его тает.

С чашкой желтого чая, в тени белоснежных ветвей,
господин Цзяо Линг упрямо весну встречает.

Мне с детства нравятся крылья птиц...

Мне с детства нравятся крылья птиц, глаза похожие на стекло (когда ты смотришь в моря глазниц и все никак не отыщешь дно). Мне нравятся голоса зверей и трещины на весеннем льду.

Апрель швыряет меня за дверь. Никем не видимый, я иду.

Луна в созвездии Близнецов и небо кружится, как волчок. Динь-Динь бросает пыльцу в лицо, щекочет ветер поверхность щек. Моя любовь за моей спиной, летит, крылом разрезая ночь. Я с детства дружен лишь с ней одной. Она мне мать, и жена, и дочь. Она садится мне на плечо, щекотно уху и горячо, и неподвижен ее зрачок, и льется сладостный голосок. На птичьем, ломаном языке, я отвечаю ее словам, пою о вечно живой стране, где море ластится к берегам, где солнце выплывило снега, где чище, радостней и светлей, где в небе странствуют облака, где нет ошибок и нет людей. Играет музыка этих слов, танцуют звезды у пальцев ног, и по узлам подвесных дорог меня ведет ястребиный бог.

Скрипят канаты, поет апрель и вместо воздуха здесь эфир, нет впереди ничего теперь, но подо мной бесконечный мир. И через час мы придем в Шанхай, а через два посетим Берлиз. Тепло, закатаны рукава, пальто неловко сползает вниз. Опять сменяется континент, немного кружится голова, зажаты зерна в моей руке и из ладоней растет трава. Кривится рот, исторгая смех, превышен мой болевой порог. И если хочешь, смотри наверх – меня ведет ястребиный бог.

И небо кружится, как волчок, луна вползает в межзвездный люфт, и расширяется мой зрачок, раздвинув кость, прорастает клюв. Рубашка тотчас идет по швам, выходят перья из кожных пор. Болит отчаянно голова, как будто кто-то спустил затвор. Моя любовь мне вскрывает грудь, от крови пьяно и так тепло, мутит, не выдохнуть, не вдохнуть, но прорастает мое крыло. Сквозь прорастает мое крыло, по-птичьи радостно я кричу. Шагая вниз с поднебесных гор, никем невидимый, я лечу.

«Эта история сочинила себя сама...»

Эта история сочинила себя сама.
Вот сидит сейчас напротив,
глаза виноватые,
пальцы в чернилах.

В ней всего семь страниц,
(да, это совсем не роман).

Всего лишь сказка о том,
как меня любила
женщина,
пахнувшая зимой,
лесом,
апельсинами
и хвоей.

И сейчас, когда становится совсем темно,
она обнимает меня,
так крепко, что даже больно.

У нее было веснушчатое лицо,
разноцветные волосы
и очень горячее сердце.

Я прижимался к ее груди
и мне становилось тепло.
Так тепло, так легко удавалось согреться.

Лунный камень, закованный в серебро,
на простой цепочке,

целовал ее ключицы.

Что я помню о ней?

Что можно запомнить из снов? —

она лучшее, что когда-то могло присниться.

Я встретил ее в королевстве стеклянных дверей,
в царстве антибиотиков и белых халатов.

Помню, был звездопад, сыпались искры огней,
и она появилась передо мной,
перепутав свою палату.

Мы сидели на подоконнике, слушая песни сверчков.
Майский воздух был сладким
и сердце стучало глухо.
Были столкновения пальцев, ладоней и рукавов.
И по темной комнате разлетались бабочки букв.

Она приходила все чаще, кормила меня с руки.
И вкус больничной еды для меня становился мёдом.
Безграничное счастье кого-то так сильно любить,
разливалось под кожей, обжигаяще и свободно.

И растерянно, хмурый доктор качал головой,
глядя на меня, улыбающегося широко.
Обреченный на смерть — идет на поправку, живой.
Да еще и смеется. Какая причуда Бога.

А она все шептала: «ты сильный, ты победишь».
Мой холодный лоб обжигали ее ладони.
Неисправное сердце спокойней стучало в груди,
и болезнь отступала,
склоняясь перед любовью.

Меня выписали четвертого сентября,
вопреки всем прогнозам и здравому смыслу.

Но она исчезла. Я искал ее долго и зря.
Ее будто бы не было.
Даже имя не значилось в списках.

Но порой, когда я открываю окно,
ее голос приносят рассветные птицы.

Что я помню о ней?
Что можно запомнить из снов? —
она лучшее, что когда-то могло присниться.

Эта история сочинила себя сама.
Вот сидит сейчас напротив,
глаза виноватые,
пальцы в чернилах.

Я целовал женщину, пахнущую, как зима.
Ее звали Жизнь.
И она очень меня любила.

Рыбка кои

Просыпайся, богиня реки, чарующая Ло-шэнь. Косы твои легки, ладони качают тень. В изголовье растет тростник, в теплых водах тонет луна. Я лежу на твоей груди и под кожей моей весна. Нависает цветной Восток, сердце ноет в объятьях вен. Перламутровый мотылек умирает в живом огне. Покрывается чешуей антрацитовый небосвод, я теряю контакт с Землей, волны лижут нагой живот. Обнимай меня, фея рек, невесомо касаясь щек, сверху падает звездный снег, время лечит и время врет. Мокрый свитер прилип к спине, пряжа тянет меня ко дну. Рыбки плещутся в рукаве, я считаю шаги минут. Мои пальцы слегка дрожат, предвкушая твою любовь. Прикасайся к моим глазам, из-под век выпивая боль. Совершенное божество, исцели меня от потерь. Излечи меня от всего, приголубь, как своих детей. Я теперь – золотистый карп, я лежу на твоей груди, я качаюсь в твоих руках, оторви меня от земли. Забери меня в темноту, дай мне жабры и плавники, я воскресну и поплыву, будут волны твои легки. Отними у меня слова, аккуратно зашей мой рот, пусть тяжелая голова станет легкой, пусть все пройдет. Пусть оставит меня печаль, пусть сотрутся портреты лиц, что являются по ночам, забираясь в круги глазниц. Исцели меня от врагов, от предательства и людей. На воде отпечатки снов, в камышах искорки огней. Окрести меня сыном моря, погрузи меня в свой покой. Я – свободная рыбка кои. Я плыву за твоей рукой.

«Есть двери, которые может...»

Есть двери, которые может
открыть только Алиса.

Арису плутает по замку,
играя со связкой ключей.

Двоякая истина ложна,
но чашка горячего риса
пришлась бы сейчас очень кстати,
как, впрочем, вино и постель.

Подошвы по шахматным плитам
стучат, выбивая чечетку.
Немного искусственный ритм,
но ровный и правильный, чёткий.

Он кружится и замирает,
танцуя с улыбкой Чешира,
кусающей его пальцы,
клыки запускающей в жилы.

Клубы белоснежного пара
находят убежище в горле.
Он горькую курит сигару,
смеется кошачьей морде,

и ищет дорогу к чаю,
(он должен быть очень горячим).
И краешком глаз замечает:
в Стране Чудес солнце ярче.

Целуя оконные стекла,
оно забирается внутрь.
Рубашка от пота намокла,
и в зале до одури душно.

Есть вещи которые может
увидеть только Алиса.

Омары танцуют на кухне,
об чашки стучат плавники.

И дремлет в обнимку с пирожным
пушистая рыжая крыса,
а гусеницы, разбухнув,
щекочут поверхность руки.

Болтается в брючном кармане
бутылочка с надписью '»drink me'».
И странные, рваные ритмы
играют в его голове.

А сердце, визгливо, как карлик,
кричит ему выйти из битвы,
но лучше быть просто убитым,
чем сдаться клыкастой судьбе.

Есть двери, которые может
открыть только Алиса.
Ступая по шахматным плитам,
он ищет дорогу к своей.

И двигаясь осторожно,

боясь даже пошевелиться,
замок открывая со скрипом,
Арису ступает за дверь.

*

...на солнечной Окинаве,
где над морем белые птицы,
деревья в раскрашенных платьях,
и облако – пляшущий зверь,

за стенами пасмурных зданий,
ступая по холлу больницы,
в измазанном кровью халате
идет Королева Червей.

Мир тонет в багровом закате,
на волнах качается остров,
а чашка горячего риса
дымится на чьем-то столе.

И в кипенно-белой палате,
где запах лекарств режет ноздри,
глаза открывает Арису,
нашедший дорогу к себе.

Не уходи

Не уходи.

Пока ты здесь, со мной,
я не боюсь ни холода, ни жара,
я не боюсь отравленных кинжалов,
и кубков с заколдованной водой.

Я не боюсь.

Пусть весь земной народ
заточит пики и пойдёт в атаку,
я кинусь смело в пламенную драку,
не затаюсь у запертых ворот.

Не уходи.

Я вырасту большим,
из полного нуля вырасту великим,
пусть скалятся насмешливые лики,
с отныне достигаемых вершин.

И пусть меня возненавидит свет,
я выдержу любой плевок и камень.
И как бы ни был я смертельно ранен,
взяв за маяк твой ясный силуэт,

я разрублю мечом крошечный мрак.
Я выберусь живым и невредимым,
я проложу свой путь сквозь снег и льдины,
найду свою тропу в чужих мирах.

Не уходи.

Ты – смысл всех побед,
всех битв, побегов, сломанных запретов,

ты – солнцем коронованное лето,
ты – небо разрумянивший рассвет.
Пусть ничего не вечно под луной,
пусть мы – одна лишь пыль в ладонях ветра,
но нам идти дорогами бессмертных,
пока ты будешь следовать за мной.

«Шесть утра...»

Шесть утра.

В звенящем Пекине рассвет
нарезает на ломтики солнечный мармелад.
Знаю, Мэй, ты сидишь у окна, закутавшись в плед,
устремив в пустоту печалью подернутый взгляд.
Твои руки сжимают пушистую, мягкую ткань,
чай с жасмином, в щербатой чашке, давно остыл.
Раскрывает бутоны малиновая герань,
за окном просыпается шумный весенний мир.
Ты впускаешь бабочек, бьющихся о стекло,
свежий ветер разносит по комнате аромат
белых яблонь,
баюкающее тепло
обнимает тебя, увлекая назад в кровать.
Твой уютный мирок лелеем твоим отцом,
доброй матерью. В их любви,
вспоминай обо мне лишь хорошее.
Страшным сном
забывая всю боль, что тебе причинил.

Я желаю тебя, как и прежде – до дрожи рук,
до щемящего чувства, ноющего в груди.

Я кричу по ночам. Этот жуткий звук
отлетает от стен, заглохнув на полпути.

Иногда в мою голову забираются голоса,
языками шершавыми лижут мой слабый мозг.
Я сжимаю ладони и закрываю глаза,
вспоминаю тебя,
белых бабочек,
запах роз.

Очень жаль, здесь нет окон. От этого тяжелей.
Берега Юндинхэ не видимы, не слышны.
Я глотаю таблетки.
Таблетки на вкус, как клей.
Я, конечно, не болен. Ведь это они больны.

Моя Мэй, ты была единственной, я не вру.
Не верь тем, кто расскажет тебе о других.

Ты была моей бабочкой.
Лучшей из двадцати двух.
Но тебя не причислить к ним, не равнять на них.

Я втыкал в них иголки, нежно вскрывая плоть.
Эти глупые женщины сгорали в моем огне.
Но ты, Мэй...
ты была совершенно другой.
Ты была моим маяком в непроглядной тьме.

Извини за то, что видела кровь на моих руках.
Твой испуганный взгляд,
вся лживость бульварных газет.

Как посмели они винить меня в этих грехах?

Это свято – рождать прекрасное.
Разве
нет?

Как чудесно слова выстраиваются в мозгу,
веки, крыльями бабочки, вздрагивают слегка.
В голове оживают очертания твоих губ,
лето в парке Бэйхай, трепещущая рука.

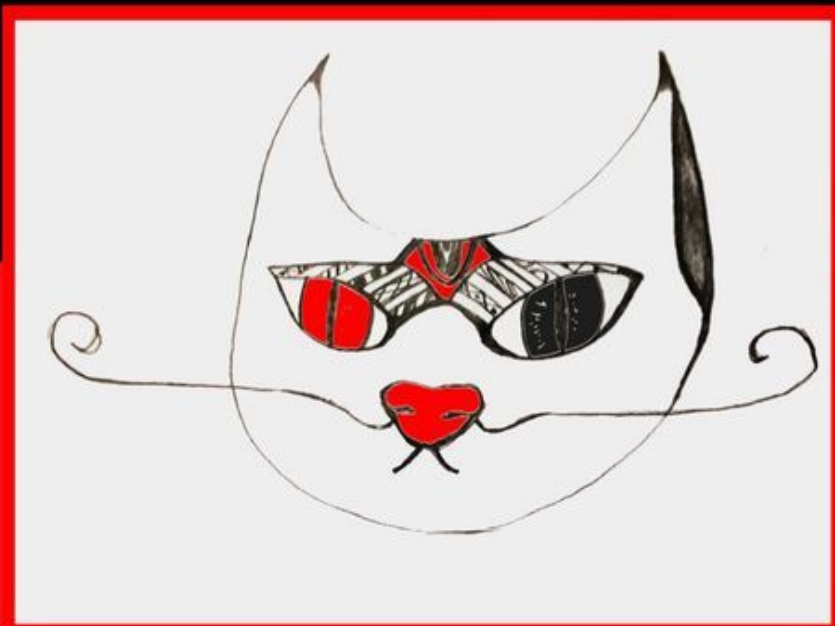
Дьявол в белом халате под кожу мне вводит яд.
Пальцы мерзнут и стынут,
и мысли мои легки.

Мэй, прощай.

И знай, я безмерно рад,
что тебе удалось спастись от моей любви.

18+

Джио Россо



Добрые злые сказки

